



исторические романы о любви

# Елена Арсеньева



Государева  
невеста

# Елена Арсеньева Государева невеста

*Текст предоставлен издательством*  
*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=161379](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=161379)*  
*Арсеньева Е. Государева невеста: Эксмо; Москва; 2006*  
*ISBN 5-699-15407-8*

## Аннотация

Блистательное будущее уготовил своей дочери Марии светлейший могущественный князь Меншиков: вот-вот будет сыграна ее свадьба с императором Петром II. Но вмешались давние враги выскочки Алексашки, родовитые Долгоруковы, – и он низвергнут с высот власти в бездны страдания, забвения, а вместе с ним – и вся семья, и дочь. И никому не может прийти в голову, что «невеста императора» может только радоваться столь трагическому повороту своей судьбы, ибо сердце ее отдано Федору Долгорукову, тайною женою которого она стала...

Ранее роман «Государева невеста» выходил под названием «Невеста императора».

# Содержание

Часть I	4
Пролог	4
1. «Без ослушания и мотчания»	15
2. Жених и невеста	29
3. В кустах	41
4. «Юнец зело разумный»	56
5. Еще один жених	67
6. Кокетка	81
7. Увлекательный разговор о химии	96
8. Венец королевы Марго	108
9. Царская охота	127
Конец ознакомительного фрагмента.	129

# Елена Арсеньева

## Государева невеста

*Сильна, как смерть, любовь...*  
*Песнь Песней*

### Часть I

## ГОСУДАРЕВА НЕВЕСТА

### Пролог

– Благословите вести молодых почивать! – выкрикнул дружка, озорно выкатывая хмельные глаза. – Ох, нет – везти! Благословите везти молодых поивать!

– Благослови бог! – раздраженно махнул рукою Алексей Григорыч Долгоруков, посаженный женихов отец. – Вези, чего уж!

Князь Федор неприметно перевел дыхание. Это было единственное, что он смог выторговать для себя на свадьбе, которую Долгоруковы положили справить непременно широко, по-старинному, по-царски, со всем обрядовым русским размахом. Уже и чарку топтали ногами, и бесконечно играли сурны и бубны, и невеста целовала жениховы сапоги

в знак рабской покорности, а потом не то притворно, не то искренне плакала в знак разлуки с родными и страха перед новой жизнью...

У Федора сосало под ложечкой: то ли от нетерпения, то ли от волнения, то ли от голода: оба они, жених с невестой, ничего не ели, хотя перед ними и ставили кушанья одно за другим. Федору вдруг вспомнилось, как о прошлое лето в Париже шел он по мосту Пон-Неф и остановился, любуясь белым призраком Нотр-Дам, и вдруг приблизился с поклонами запыхавшийся юноша и, запинаясь от волнения, нижайше попросил его сделаться шафером при венчании, которое и свершилось четверть часа спустя в боковом приделе собора: без притворных слез, без нескромных взоров, без громкой оценки приданого невесты и обсуждения причуд жениха, который непременно пожелал провести ночь в своем доме, хотя окручивание и пир прошли у приемного отца, а стало быть, здесь же следовало молодым почивать. Нет, брачное ложе было устроено в полузаброшенном, лишь частью отремонтированном особняке почти на окраине, на Фонтанке<sup>1</sup>, где молодые будут вовсе одни, избавленные от докучливых советов, от вопросов через дверь в разгар ночи: «В добром ли здоровье жених?», от громогласных воплей – мол, «доброе» меж новобрачных свершилось...

Еще слава богу, что государь Петр, и государева сестрица, и тетка государева, царевна Елизавета Петровна, почти-

---

<sup>1</sup> Граница Санкт-Петербурга в 20-е годы XVIII в.

ли только церковное венчание, а не сам пир. Молодой царь не прочь был повеселиться подольше, но Елизавета, конечно, его отговорила: она так и не простила Федора, а потому не упускала случая уколоть его... любопытно, что скажет он наутро? Федор с трудом удержал судорожную зевоту: да когда же все завершится?!

Но все, окончено пированье, окончена публичная пытка: дружка, фаворит императорский, Иван Долгоруков, статный, светловолосый, обернул скатертью жареную курицу и, красуясь под ласковыми женскими взглядами, пошел в сени, а за ним нетвердо двинулись смертельно усталые молодые.

– Гляди, не наделай глупостей! – слышался встревоженный голос из толпы – голос Василия Лукича Долгорукова, и только жених угадал, к кому были обращены эти слова...

Ну, слава богу, вошли в покои. У изголовья широкой кровати с шелковым пологом и впрямь стояли кади с пшеницею, куда дружка нетвердою рукою воткнул свечу и потянулся к яхонтовым застежкам парчового женихова камзола (оба новобрачных были одеты по-старинному), чтобы помочь молодому раздеться, как предписывал обряд. Пьяненькая сваха возилась с летником невесты, и до князя Федора долетел сердитый шепот Анны: «Осторожнее, косорукая!»

Впрочем, это было чуть не единственное проявление ее норова. Уже раздетая до рубашки, невеста покорно сняла с Федора сапоги. В одном была монета, и Анна спешила туда заглянуть: ведь если удастся первым снять сапог с монетою,

значит, ей будет счастье; в противном случае всю жизнь придется угождать мужу и разувать его. Анне не повезло, она даже глухо охнула с досады.

— Ну, ложитесь, голуби! — велел Иван Долгоруков, которому скучно сделалось топтаться в сем унылом покое, глядеть на постную, без малого признака возжеления, физиономию жениха, на худые, полудетские прелести невесты. Женонистовый <sup>2</sup> дружка уже обдумывал, как бы это похитрее улизнуть от свахи, спровадив ее на пир в дом отца одну, а самому доехать до дворца Головкиных, что близ Летнего сада, и через тайную калиточку пройти в увитую хмелем беседку, где его ждет, не может не ждать молодая жена старого канцлера — молодая, жаркая, ненасытная...

— Ну, не оплошай, Феденька! — шепнул он торопливо. — Совет да любовь!

И дверь в покои наконец-то затворилась. Наконец-то нобобрачные остались одни...

Князь Федор молчал. Хоть убей, не мог он заставить себя даже слово сказать этой девочке, покорно, ждуще прилегшей рядом, дрожащей не то от девичьего страха, не то от бабьего нетерпения. Лежал, вытянувшись в струнку, следя игру свечного пламени по тяжелому шелку полога, внешне оцепенелый, мучаясь нетерпеливым ожиданием того, что сейчас предстояло свершить, и не дрогнул, не шелохнулся, когда невеста вдруг всхлипнула рядом с ним — раз и другой, а

---

<sup>2</sup> Похотливый, женолюбивый (устар.).

потом залилась горькими, тихими, безнадежными слезами.

Федор только вздохнул. Ей было б легче... потом, останься память о ласках мужа. Измученное воображение вдруг мгновенно нарисовало картину смятой постели, белых женских ног, стиснувших его бедра, колыханья обнаженных грудей, тяжелой любовной испарины меж ними... Но ничто не шевельнулось ни в сердце, ни в теле: все то же прежнее, вялое спокойствие владело Федором, и только жалость грызла его душу.

Ему было жаль себя, ибо предстоит еще несчетно страданий и горя, прежде чем обретет он покой; жаль этого дома родительского, обреченного скоро превратиться в прах; жаль Анны, невесты, которая никогда не станет женой и принуждена будет долго, если не вовек, влачить муку своего не то девчества, не то вдовства, невольно, как и он сам, сделавшийся жертвою безмерной, жадной мстительности Долгоруковых. Но пуще всего было ему жаль ту, другую... далекую изгнанницу, которая, узнав о случившемся, а не то – почуяв вестим сердцем, вдруг заведет глаза, заломит руки, ударится о сыру землю, вскрикнет, словно лебедь подстреленная, и никому не будут ведомы ее мука, и почти смертельная боль, и неизбежная тоска, и одиночество...

Нет, хватит. Невозможно долее ждать, ведь есть же предел силам человеческим!

Затаив дыхание, вслушался: всхлипываний Анны уже не слышно – спит как убитая, сморенная усталостью бесконеч-



ного дня и горькими слезами.

Встал... бесшумно вышел в другую комнату: пустой дом весь полон таинственных шорохов и треска, и снизу уже отчетливо тянет дымом.

Вернулся в опочивальню, взял свечу. О, какое юное, какое сердитое лицо у Анны! Она злится даже во сне. Ну что ж, тем лучше. Тем легче!

– Прощай. Прощай, – едва слышно шепнул князь Федор, поднося свечу к пологам... и заслонился рукою от облака яркого пламени, взметнувшегося над его головой.

\* \* \*

– Ох, еще слово... словечко еще! Княгиня моя!

– Матушка! Матушка родненькая!

Александр Данилыч и Сашенька, младшая дочь его, вновь и вновь припадали к свежезасыпанной могиле. Сын светлейшего, тоже Александр, стоял, согнувшись, поодаль, торопливо крестился, но не кричал голосом – тихонько подвывал, словно телок, лишившийся матери.

И она... та самая... Крюковский, начальник охраны, с опаскою смерил взглядом стройный стан, содрогавшийся от рыданий, темно-русую склоненную голову, в отчаянии стиснутые руки. Она плакала тихо, даже не плакала, а лила неостановимые слезы.

Крюковский насупился. Зрелище этого безмолвного горя

царапнуло очерстевшее сердце. Жалость – тьфу, пустая мука!

– Да полно, Данилыч! – поморщившись при новом истошном вопле, проворчал Крюковский, с видимым раздражением оглядываясь на дородную фигуру, обнявшую могильный холмик. – Не воротишь ведь! Да и пора нам двигать: застоялись лямошные!

«Лямошные» были бурлаки, которые, обрадовавшись малой передышке, лежали на песочке, со скукою поглядывая на пригорок, где только что небрежно опустили в наспех вырытую яму Дарью Михайловну Меншикову, в девичестве Арсеньеву, добрейшую из женщин, вернейшую из жен, нежнейшую из матерей. Не снесла тягот пути, позора, неизвестности, осиротила мужа и троих детей, которым не дали и похоронить родимую толком – вновь торопили в путь.

Мария отняла руки от лица, глубоко вздохнула. Чего плакать-то? Счастлива матушка: она теперь спит вечным сном, и душа ее не обременена тяготой тоски земной. Нет, не по ней, упокоившейся в сырой и неприветной казанской земле, плачут все они – по себе! Страдать им еще немерено... страдать, да терпеть, да угнетать небеса бессмысленными жалобами!

Мария порывисто вскинула голову – вдруг нестерпимо сделалось, что в беловато-тусклых глазах Степки Крюковского промелькнула искорка сочувствия. Забылся, холоп!

Почти сердито схватила за плечо брата:

– Смолчи. Утрись! Подыми отца!

Тот глянул было неприветливо, по-волчьи: мол, не ко времени старые замашки вспомнила, «императорское высочество, государева невеста», – но увидел ее дрожащие губы, все понял, кивнул, пошел к отцу.

Лицо Александра Данилыча плыло-расплывалось от безудержных слез вперемишку с раскисшей землею. Сын повел его; Сашенька забежала с другой стороны, обняла; Меншиков медленно, словно расслабленный, переставлял непослушные ноги.

– На баржу, на баржу! – замахал Крюковский десятку слуг, сгрудившихся поодаль. Как всегда, один из них – черный, тонкий, что лозина, красивый и угрюмый (имя его, знал Крюковский, было Бахтияр) – шагнул к Марии, но не посмел приблизиться: только ожег черным пылким взором да стал у сходней, чтобы руку подать. «Хоть коснуться на мгновенье, – подумал Крюковский. – А она-то тебя, нехристя, в упор не видит, зря тешишься попусту!» Что была ему за забота в напрасном томлении молодого черкеса, Крюковский не знал, не понимал, а потому, осердясь, пошел, как мог скоро, к барже, куда уже вводили-вносили Меншикова, да приостановился, оборотясь на дальний зов: с крутояра рысил верховой, махал шапкою.

Этого гонца Крюковский ждал давно. Алексей Григорыч Долгоруков должен был переслать последние указания касательно особы опального князя: размер содержания, опреде-

ленный ему и семейству в Березове... так, рубль в день на человека («Не больно-то ты расщедрился для бывшего дружка! – про себя усмехнулся Крюковский. – Сахар-то девять с полтиною фунт!»), жить в остроге – ну, это уж не его забота, а комендантова... идти по воде до Соли Камской безвыходно с баржи, а там до Тобольска и до Березова... Крюковский так и предполагал. А вот и новости! «Задержался указкою сего, – писал далее князь Долгоруков, – по причине горя, нас постигшего. Племянник мой, сын покойного Григория, Долгоруков Федор, страшною смертью умер в ночь после свадьбы собственной – сгорел в доме; только и успел, что жену молодую в окошко вытолкнул (она и посейчас без памяти), а сам сгорел, и дом, и все добро. Косточки от него остались, что уголья, да и все. Упокой, господи, душу раба Твоего! Не слушал, бедняга, меня, старика, – вот и претерпел за грехи свои...»

– Слышь, Данилыч, – крикнул начальник стражи, желая хоть в малой малости ободрить своего злосчастного подопечного, – не тужи! Твоим супротивникам бог тоже поддает жару! Вон, известие... – Он помахал бумагою. – Алексей Григорыча племянник, Федька, сгиб – сгорел, дотла сгорел: одни кости нашли на пепелище! Не только лишь от тебя отнято – от него тоже!

Меншиков, склонившись к борту, вяло перекрестился. Крюковский, досадуя, что новость не вызвала у светлейшего ни капли радости, пошел к сходням да наткнулся на Марию:

она так и стояла у самой воды, опустив руки, глядя на него огромными, в пол-лица, темно-серыми глазами, чуть шевеля бледными губами. Бахтияр замер рядом, словно окаменев, и только взгляды его стремительно перебегали с лица дочери Меншикова на лицо Крюковского, и тому почудилось, что эти чернящие глаза щекочут его, будто сухие паучьи лапки.

– Ну! – замахнулся. – Гляделки чего выпялил?

Бахтияр попятился.

– Сгорел? – звонко, отрывисто переспросила Мария, уставясь на Крюковского, и он повел ладонью перед ее лицом: девка смотрела безумно, незряче.

– Сгорел, сгорел, потешься! – буркнул он. – На их улице, знать, тоже не праздник. Ну, чего стала... стали чего, Марья Александровна? Пошли наверх! – И, отмахнувшись от назойливого Бахтияра, сам подал руку бывшему «высочеству».

Мария была боязлива: Крюковский не раз видел, как она робко, неуклюже сползает по сходням или взбирается на них. Но тут взлетела, не коснувшись опоры, и стала у правого борта, глядя вдаль, на зеленые обширные поля и синюю тень почти незримых гор.

В стеклянной небесной выси забился жаворонок. Мария вскинула было голову, но зажмурилась от солнца, понурилась над сизо-серою волной.

Бахтияр, по обычаю, держался невдалеке, исподлобья поглядывая на бледное склоненное лицо, на дрожащие ресницы.

«Красота! Вот она, красота-то! – с внезапной тоскою в сердце опасливо пожалел Крюковский. – Умолвит он ее рано, поздно ли, а нет – ссильничает блудным делом, вот и вся недолга. Да мне-то что?!»

И отвернулся, озирая свое хозяйство.

Лямки натянулись; водолив <sup>3</sup> стал на носу, глядит на стрелень; Меншиков прилег под тенью борта; Александр с Александрю притулились рядом. Охрана держится вежливо, однако глаза у всех на стреме. Ну, все в порядке, можно давать знак к отплытию.

Крюковский махнул рукою...

– Э-эх! У-ух! – басом запел водолив, подхватив его знак.

Судно качнулось, тронулось, пошло на глубину, разворачиваясь поперек течения.

– Господи! Господи, помилуй! – вдруг раздался тонкий крик, и Крюковский, недоверчиво подняв брови, увидел, как тонкая фигура в черном платье медленно (ему показалось, что неестественно медленно!) переломилась над бортом, свесилась с баржи – и рухнула вниз, в воду.

Взметнулись брызги.

Она! Мария!

Крюковский вцепился в борт, увидел: темные водоросли распущенных кудрей поплыли по реке, потом медленно пошли вниз, и белое облако взметнувшихся юбок тоже пошло вниз... на дно, в бездну, на смерть...

---

<sup>3</sup> Старший в бурлацкой артели.

# 1. «Без послушания и мотчания»

Тетушка Варвара Михайловна стояла перед племянницей и глядела на нее с такой ненавистью, что Маше было жутко видеть это новое выражение в прежде умильных глазах. Она была ростом гораздо выше горбатой тетушки, и той приходилось закидывать голову, чтобы смотреть в лицо девушке, так что ее черный, как вороново крыло, старомодный парик, слишком тяжелый и пышный для этой по-птичьи маленькой головки, то и дело съезжал на затылок, выставляя жидкие полуседые прядки, прилипшие к вспотевшему лбу: тетку от ярости бросило в жар.

– Гордыня! Гордыня демон твой, Марья! – прокричала тетушка. – Что ты о себе возомнила, скажи, пожалуйста?

– Ничего. Напротив, участь сия для меня роскошна чрезмерно.

– Не лукавь! – взвизгнула тетка, замерев перед Машею, как змея, вставшая на свой хвост перед жертвою. – Не лукавь, не прекословь! Из воли родительской не выступишь!

– Батюшка меня неволить не станет, я знаю сие доподлинно!

Маленькие черные глазки Варвары Михайловны вдруг сделались чуть ли не в пол-лица.

– Так ты еще и дура к тому же! – прошептала она как бы в недоумении. – Глупая дура!

Маша вздрогнула, когда тетка схватила ее за руку своими влажными, ледяными пальцами:

– Думаешь, почему батюшка твой вдруг стал приверженцем малолетнего великого князя, еще когда жива была Екатерина-императрица? Или невдомек, что он являлся некогда одним из гонителей царевича Алексея Петровича, а потому должен страшиться, что сын царевича, вступивши в возраст, не помянет добром супостатов отца своего, а уж Меншикова-то, Александра Даниловича, – тем более!

– Так, напротив, следовало бы держаться подальше от сего мальчишки и взять сторону Анны либо Елизаветы, – строптиво возразила Маша. – Матушка-императрица семейство наше жаловала, как мы исстари были привержены Великому государю Петру, а стало быть, и дочери ее не оставили бы нас своими милостями.

– Ждите! Как же! – фыркнула Варвара Михайловна. – Да разве прокричали бы которую-нибудь из них на престол, когда обе рождены были еще вне брака? К тому ж, Анна уже замужем за голштинским герцогом, а кому не ведомо, что он – заклятый враг твоего батюшки. Для герцога радость его голову на плаху положить. Опять же и Елизавета может выйти замуж за какого-нибудь иноземного принца, и с ней вместе на русский престол воссядет иноземец, и для этого-то иноземца Александр Данилович будет прокладывать дорогу?! Иное дело, когда б у Екатерины-покойницы был сын, тогда наш-то, Данилыч-свет, едва бы стал колебаться меж-



ду сыном Екатерины и сыном царевича Алексея и, конечно, принял бы сторону первого, и держался бы ее крепко. Но ведь помер сын Екатерины во младенчестве! А стало быть, надо выбирать из того, что есть. Не так живи, как хочется, а так, как бог велит!

Маша безучастно глядела в окно поверх теткина парика. Напрасно Варвара Михайловна думает, будто дочь Александра Данилыча Меншикова глухая и слепая, не видит, не слышит, не ведает, что вокруг нее творится. Чтобы обезопасить себя от его мести за убиенного родителя, Меншиков положил женить наследника русского престола на своей дочери!

– Нет, но почему я?! – воскликнула Мария отчаянно. – Коли мне не мила завидная участь сия, взяли бы Сашеньку!

Варвара Михайловна завела глаза, моля бога о терпении. Больше всего ей хотелось бы сейчас схватить добрую орясину да вломить строптивнице поперек спины, чтоб неделю потом лежала пластом, не в силах ни ногой, ни рукой шевельнуть, оплакивая глупость свою девичью. Она передохнула, подождала, покуда от взора отойдет белая муть бешенства, и вновь начала уговоры, но при этом ей казалось, что маятник часов в коробке красного дерева, некогда привезенных деверем ее, Александром Данилычем, еще из Голландии, где он побывал с великим Саардамским плотником <sup>4</sup>, бьет ей прямо по темечку – да в лоб, по темечку – да в лоб.

---

<sup>4</sup> Прозвище Петра I во время его путешествия инкогнито.

– Сама знаешь, Екатерина ощущала себя в долгу перед батюшкою твоим, оттого и не смогла отказать ему, завещала волю предсмертную – жениться внуку на тебе.

– Не могла отказать? – переспросила с усмешкою Маша. – Почему же сие? Не потому ли, что некогда была препровождена в императорскую постель с ложа батюшкина?

Бац! Из Машиных глаз искры посыпались, а Варвара Михайловна, отвесив сию оплеуху, ощутила такое облегчение, что почти миролюбиво ответила:

– Твое счастье, дура, что при нас нет чужих ушей! Вспомнила бы еще про Марту Скавронскую, которая в соломе с какими-то преображенцами валялась, прежде чем досталась Борису Петровичу Шереметеву, а уж от него... – Она многозначительно умолкла.

Продолжать никак не следовало! «Слово и дело государево» было еще в чести, и за упоминание о буйном прошлом императрицы Екатерины могла пострадать даже родня всеильного Меншикова... тем паче что всеилие его в последнее время несколько пошатнулось. Ну как этого не хочет понять Машка, дура набитая!

Тетушка поглядела на зарозовевшую, припухшую от пощечины щеку племянницы и подосадовала на себя. Бить девушку по лицу, портить эту красоту несказанную было не след!

Варвара Михайловна окинула взором тонкие, изящные черты, чуть восточный разрез огромных темно-серых глаз, ровные полукружья соболиных бровей... «Ох, мне бы ее

красоту! – подумала с вечной, неутихающей, неизжитой болью. – Ох, я была бы!..» Как всегда, от сильного сердечного волнения особенно заломило горб, и Варвара Михайловна не смогла не одарить своей мукою племянницу – будто грош нищенке бросила:

– Потому Екатерина себя в долгу чувствовала перед Данилычем, что жениха у тебя отняла. Да все к добру вышло, как видишь!

Мария стояла понуро, приложив ледяные пальцы к горячей щеке. Ей до сих пор было тяжело вспоминать, как жених ее, Петр Сапега, год назад вдруг вернул слово, вознамерившись жениться на племяннице императрицы, Софье Скаронской. Слез Маша тогда пролила!..

– Говорят, тетушка, – тихо проговорила Мария, поднимая глаза – такие печальные и несчастные, что, будь у Варвары Михайловны сердце, оно непременно сжалось бы, – нынче в Москве из заключения воротили Евдокию Федоровну Лопухину <sup>5</sup>, бывшую царицу. Ее всегда осуждала молва, а мне жалко было. И она была царю не мила – его сердце к Анне Ивановне <sup>6</sup> стремилось, да и он был ей чужой человек. Ему-то Евдокию молоденькую в невесты не по любви – по родovitости да по красоте выбрали, будто кобылку хорошей породы. Ан нет, не привилась порода: вспомните, каков Алексей Петрович уродился – неудачлив да кощунник своего ба-

---

<sup>5</sup> Первая жена Петра I, заключенная в монастырь.

<sup>6</sup> Анна Монс, фаворитка Петра.

тюшки! А все потому, что любви, любви не было! Так ведь и со мною станется.

Она вдруг заломила руки – не стало сил терпеть:

– Помилосердствуйте, тетенька! Умолвите батюшку! Не люб мне Петр Алексеевич – ну ведь мальчишка он, ему одиннадцать лет, мне семнадцать... что меж нами станется, какая жизнь, какое счастье?!

– Не лю-у-уб? – провыла Варвара как бы волчьим воем. – Не лю-у-уб, говоришь?

Лютая, змеиная злоба, та, что горше желчи, подкатила ей к горлу, отуманила разум.

Господи! За что ж ты так несправедлив, немилостив?! Почему даешь одним все, а другим ничего? Вот стоит красота неописанная, от которой замирают, трепещут мужские сердца, – и чего же она еще просит?! Что еще ей надобно, какой призрак, выдумка? Взойдет на царское ложе, получит такие власть и почесть, какие и не снятся никому! Все наряды, все драгоценности, сказочные богатства – и власть, власть, власть казнить и миловать, бить и ласкать, одним взглядом приблизить к себе любого мужчину – и оттолкнуть.

Кто откажет царице? Зачем ей любовь глупого мальчишки-мужа, когда к ее услугам будут первые красавцы царства? И уж ежели более чем полсотни лет назад Наталья Кирилловна Нарышкина, матушка великого царя Петра, исхитрилась взять к себе постельничим полюбившегося ей Федора Милославского – а нравы в те поры были суровые, теремные! –

то разве в нынешние вольные, распутные времена не сыщет царица укромного уголка, где бы потешить плоть и душеньку?.. Ну, другое дело, что не оставит ее никогда сомнение, вечно будет червь душу точить, как наливное яблочко: а с кем бишь мой полюбовник блудодействует, на кого похоть его наострена – на первую красавицу земли русской Марью Александровну, не то на государыню всея Руси? Обречена, обречена будет Машка думать, будто всякая любовь – купленная... что ж, не она одна. Точно так же думает и тетушка ее, Варвара Михайловна, когда задирает юбки для своих наемников-угодников, ну а на живот, на тощий свой живот кладет пару-троечку монет, или перстенок серебряный, или цепку, не то – самоцветный камушек, и каждому, кто с нею трудится, ведомо: не моги взять награду, покуда ненасытная горбунья не возпреет от удовольствия! Но если у Машки есть хотя бы надежда, что чье-то сердце займется к ней истинной страстью, будто искра пламенем, то что остается ее тетке, как не платить бессчетно, безрассудно за каждое мгновение мужской ласки?

Горбунья... кривая, злая, уродливая – птица вольная в вечной, неотворяемой, темной клетке! Узница плоти!

Варвара Михайловна схватилась за горло, подавляя рыдание. Ясные глаза Маши засияли слезами участия:

– Тетушка? Что с вами?

И это было больше, чем та могла вынести.

Вцепилась в Машину руку не пальцами – крючьями же-

лезными:

– Последний раз спрашиваю: пойдешь за Петра?

Маша отпрянула. Замкнулись черты, холодком подернувшись взор:

– Нет. И не тратьте посулов. Батюшке в ноги кинусь – он-то...

Она не договорила – вскрикнула от боли, когда тетка внезапным, резким движением заломила ей руку за спину и, держа так, будто пойманную за крыло птицу, яростно выкрикнула:

– Бахтияр!

\* \* \*

Маша даже не заметила, как открылась дверь и он стал на пороге – будто тень от тяжелых занавесей по злой тетушкиной воле вдруг приняла облик молодого черкеса в шелковом бешмете. Мрачную картину его облика оживляла только алая рубаха, видная в прорези бешмета на груди: она чудилась кровавым пятном, обагрившим эту широкую грудь...

– Держи ее, Бахтияр! – приказала тетка, и черкес шагнул к Маше. Она отпрянула, более изумленная, чем испуганная, выставила ладонь, пытаясь задержать Бахтияра, и он впрямь запнулся было, однако тетка яростно выдохнула:

– Делай как сказано! – И черкес одной рукою поймал Машину запястья, а другой так стиснул ее стан, что она на миг

перестала дышать в этой железной оковине. Руки ее слабо дрогнули, и Маше на миг сделалось стыдно этого их беспомощного трепыхания.

Тетушка тоже устремила на них взор, исполненный отвращения:

– По одним рукам твоим видно, что много воли берешь! Погляди – мозоли! От поводьев небось? Опять гоняла верхом как скаженная? У девицы благородной должны быть нежные, лилейные, бело-розовые ручки! Я же учила тебя надевать на ночь перчатки, изнутри миндальным маслом смазанные! Попустили тебя родители с детства, да и теперь исправлением разума и воли девичьей пренебрегают. Сделали твою младость сном, а жизнь будет – мучением!

Маша почти не слышала ее слов. Она вдруг ощутила, что Бахтияр ее не просто держит, а крепко прижимает к себе. Дышит неровно, тяжело. Бледные виски покрылись испариной...

Маша попыталась отпрянуть, но тело Бахтияра как бы слилось с ее телом, а хватка сделалась еще крепче. Ей стало странно, так странно! Красивый черкес всегда казался ей чем-то бездушным, да и не глядела-то она на этого невольника никогда толком, и вот сейчас видеть, ощущать его волнение... Что же, он разделяет злость своей госпожи на Машу? Но что тогда происходит с ней самой? Отчего ей уже не страшно в руках Бахтияра, а...

– ...Коли отец с матерью не обучили тебя вовремя, при-

дется, знать, мне! — донесся до ее слуха теткин голос, и Маша, обескураженно воззрившись на Варвару Михайловну, так и ахнула, увидев в ее руках короткий хлыст.

— Бахтияр! А ну-ка! — скомандовала Варвара Михайловна, и черкес, лишь мгновение помедлив, продел свою голову в кольцо Машиных рук, а ее тело одним движением перебросил себе на спину и стал чуть пригнувшись, так что она оказалась как бы лежащей на нем, и на ее спину вдруг обрушился удар такой силы, что Маша невольно взвыла — не столько даже от боли, сколько от несказанного, бесконечного ошеломления: ее никто никогда в жизни и пальцем не тронул!

Кажется, она даже лишилась на мгновение чувств от ярости! Боль в вывернутых руках заставила очнуться, и почти бессознательно, злобно Маша впилась зубами в плечо Бахтияра. Он содрогнулся всем телом, но не издал и стога. Маша забилась, задергалась на его спине; тогда он свободной рукой подхватил ее снизу, как бы пытаясь усмирить, и она с новым изумлением, едва ли не превосходящим изумление от теткиной жестокости, ощутила, как его пальцы — длинные, пронырливые — сминают оборки и весьма ощутимо пощипывают ее за ягодичы. При этом Бахтияр еще чуть-чуть согнулся, и его зад, к которому была прижата Маша животом, волнообразно покачивался. Было в этом что-то... блудливое! Маша оказалась столь ошарашена Бахтияровыми затеями, что пропустила новый вопрос тетки:

— Ну так пойдешь за царя?! — и как-то даже забыла, что



надо сказать, замешкалась с ответом, за что и получила новый удар поперек спины, от которого руки и ноги ее вмиг онемели – она их не ощущала больше, вместо них сделались как бы комья льда. И горло оледенело, не могло выпустить вспухший в груди крик. Маша давилась им, билась на спине Бахтияра, силясь вздохнуть, а он все поерзывал под нею, терся об ее живот...

У Маши потемнело в глазах.

Она достаточно знала: Варвара Михайловна не уgomонится, пока не получит своего. И никто, никто не заступится, кричи не кричи: в теткинoм доме все по струнoчке ходят, да и привычны люди, что их хозяйка все время кoгo-тo порет. Прислуга смотрела на розги и пощечины как на меру, необходимую для их исправления и удержания в границах должнoгo пoрядкa. «Они наши отцы, мы их дети, – говорили высеченные, почесываясь. – Кому же и поучить нас, как не их милости!» И уж, конечно, всякий в этом доме полагает тетку в полнoй власти и воле над строптивой племянницей, тем паче кoгда речь идет o столь важнoм деле, как замужество. Да где это видано – у девок согласия спрашивать?! А она спрашивает:

– Ну так что? В последний раз говорю!

Маша только губами шевельнула – говорить не могла, и тетка, истолковав это слабое движение как знак нового отказа, с такой яростью согнула хлыст, что он сломался.

– Ах, не хочешь? Ну так вот гляди: переломлю тебе спину,

изувечу до смерти – никому нужна не будешь!

– Батюшка с тобой счеты сведет! – пискнула Маша вдруг прорвавшимся мышиным, писклявым голосишком, но Варвара Михайловна так люто блеснула глазами, что у девушки вновь онемела гортань:

– Батюшка твой? Жди, дождешься! Да ему шкуру свою да нажитое надо спасать, и единственное для сего сейчас средство – ты, дура набитая... битая! Битая! – Варвара Михайловна метнулась к двери, крича: – Розги мне! Розги подайте! Вымоченные, слышите, олухи?!

Слезы ручьем хлынули из Машиных глаз, и Бахтияр резко повернулся, когда горячие капли потекли по его шее. Теперь Маша близко видела его чеканный профиль, и хотя Бахтияр говорил очень быстро и почти не разжимая губ, Маша с особенной отчетливостью слышала каждое его слово – жаркое, исполненное сочувствия:

– Согласись, княжна, милая! Клянусь, она бесом одержима – забьет ведь до смерти, не то изувечит красу твою несказанную! Скажи «да», а после, как сделаешься самовластной царицею, ты уж с нею за все сквитаешься! Согласись! Что же, что он мальчишка – он царь! Это все богатство, вся власть! А как счастливой с ним быть, я тебя обучу. Клянусь! Я тайну знаю... тебе открою...

Он внезапно умолк, и Маша поняла, что сейчас начнется новая попытка: тетушка стояла рядом, поигрывая свежей лозиною, помахивая ею, и та вспарывала воздух с угрожающе-на-

смешливым свистом.

Маша дернулась, рванулась с такой силой, что едва не опрокинулась навзничь вместе с Бахтияром.

– Да! – прохрипела она. – Да! Я согласна!

Мгновенную радость ей доставило выражение злобного недоумения на теткинском лице.

– Пойдешь за царя? – сочла нужным переспросить Варвара Михайловна. – Вправду? Без послушания и мотчания <sup>7</sup>?

Маша сверкнула на нее косым взглядом, но тетке все было мало:

– Клянись господом, что не обманешь, не отступишься!

– Как я могу? – проскрежетала Маша сквозь зубы. – Руки-то...

– Ах, да! – расхохоталась тетушка с нескрываемой издевкою, как бы только сейчас сообразив, что у племянницы руки схвачены – даже не перекреститься. – Пусти ее, Бахтияр!

Тот медленно распрямился, даже слегка изогнувшись назад, чтобы Маше легче было стать на пол, и медленно-медленно выпустил ее руки. Они мимолетно скользнули по его лицу... Маша тихо вскрикнула от боли в вывернутых суставах. Крестное знамение вышло широким, неровным, неуклюжим, но тетка удовлетворилась им – и лицо ее вмиг разгладилось, сделалось по-всегдашнему умильным.

– Храни тебя бог, Машенька! – выдохнула она счастливым шепотом. – Это ведь все для тебя! Придет день – сама меня

---

<sup>7</sup> Проволочки (устар.).

отблаговаришь!

Маша опустила ресницы, чтобы тетка не увидела огня ненависти, вспыхнувшего в ее взоре. «Верно сказал Бахтияр! Ради того, чтобы ей все припомнить, стоит сказать «да» этому мальчишке! Ох, попляшет у меня тетенька... Вот так же, как я. На Бахтияровой спине!»

Маша взглянула на молодого черкеса: волосы и бешмет черные, как ночь, рубаха алая, как кровь, точеное лицо белое, как снег, а глаза... глаза горят, будто уголья!

Маша резко повернулась, кинулась к двери. Отчего-то жутко вдруг сделалось. И спина болит, как спину-то ломит, рвет железными крючьями!

Она бежала по коридору, потом по лестнице. Вскочила в свою коляску, ожидавшую у крыльца, молча (боялась, что зарычит от злости, если откроет рот) махнула кучеру, кое-как присела бочком. Маша словно бы погрузилась в черные тучи боли и мстительности, и только одно легкое, светлое дуновение обвеивало, тешило ее смятенную, как небо в грозу, душу: воспоминание о том, как Бахтияр, выпуская ее руки, коснулся их губами.

## 2. Жених и невеста

– Завещанье-то сие пресловутое видел кто, нет? – пробормотал генерал-фельдмаршал Сапега самым краешком растянутых в судорожной улыбке губ. – Я от постели умиравшей государыни не отходил, и никакого завещания не видел, и ничего от нее не слышал!

Слова его едва можно было различить в грохоте музыки и непрестанном шуме голосов, однако стоявшие близ него канцлер Головкин, наставник императора Остерман да князя Дмитрий Михайлович Головкин и Алексей Григорыич Долгоруков в совершенстве усвоили искусство слышать то, что не предназначалось для чужих ушей, и беседовать таким образом, что стороннему наблюдателю и в голову не вошло бы, будто здесь царит не молчание, а идет оживленный разговор людей, чье благополучие и даже сама жизнь оказались под угрозою.

Чертов Алексахка! Вот уж любимец фортуны!

Хотя после смерти императрицы все сложилось вроде бы так, как того желала старая знать: на престол взошел сын царевича Алексея Петровича, – но все же и не совсем так, ибо обязан он был этим беспородному Алексахке, который, первое дело, убедил Екатерину назначить своим наследником вовсе чужого ей Петра, а не кого-то из дочерей родимых, ну а во-вторых, уже до такой степени прибрал к рукам

юного императора, что даже перевез его из дворца в свой дом под предлогом, что неприятно, дескать, оставаться во дворце, где еще недавно скончалась императрица. Мальчишка уже и называл Меншикова батюшкой! Долгоруков едва не плюнул с досады на мраморные полы бальной залы, да сдержался: пока что хозяин этих зал и всего этого дома на Васильевском острове (им же самым переименованным в Преображенский), более напоминающего кирху, чем жилье русского барина, в силе, да в какой! Лучше поостеречься да погодить... смолчать...

Пошарив глазами в толпе, Алексей Григорьевич отыскал сына. От сердца отлегло при взгляде на этого высоченного красавца с добродушно-веселым лицом. Стоявший рядом с Иваном сын Меншикова Александр (их обоих приставил светлейший к юному императору) казался невзрачным, несмотря на спесивое, высокомерное выражение. Ну что ж, Меншикову-меньшому было от чего задирать нос: в свои тридцать-то лет он уже имел должность обер-камергера, чин генерал-лейтенанта и орден Андрея Первозванного!

– Глядите, – пробулькал над самым ухом Долгорукова, с трудом сдерживая смех, Сапега, – этот-то... Александр Александрыч... и ленту Екатерининскую ко всем своим регалиям прицепил. Но вроде бы орден св. Екатерины до сих пор давали одним только женщинам? Или я не прав?

– Прав, прав, – усмехнулся Долгоруков, и к нему вернулось благорасположение духа.

— А ваш хорош... хорош! — пробормотал Сапега. — Далеко пойдет, помяните мое слово! Я в таких вещах не ошибаюсь.

Да, Сапега не ошибался. Иван Долгоруков, писанный красавец, и впрямь пошел далеко: едва не стал шурином императора, но кончил жизнь свою на плахе в страшных мучениях. Но этого, понятно, Сапега не мог знать: сие вообще никому еще, кроме звезд, не было ведомо; просто он своим пронырливым польским нюхом мгновенно уловил, что хотел бы сейчас услышать собеседник, — и сказал это.

Понятно, Долгоруков не мог не ответить добрым словом, тем паче что в залу вошел невысокий, но статный и изящный, как танцор, Петр Сапега-младший, и его безукоризненно красивое лицо (всегда, впрочем, казавшееся медведю Долгорукову несколько бабоватым) делало правдоподобной всякую, даже самую преувеличенную лесть ему. Долгоруков не пожалел восхвалений для Петра, однако он перестал бы быть самим собою, когда бы не капнул в эту огромную бочку меда хотя бы малой толики дегтя, а потому как бы между прочим, рассеянно молвил:

— Помнится мне, нынешняя невеста государева некогда вашего прекрасного сына весьма жаловала! Ежели она пошла в батюшку, то ее мстительная натура еще скажется!

У Сапеги сжалось сердце: чертов Долгоруков угодил в самое больное место! Но политесный поляк и виду не подал, что собеседник лишь облек словами его собственные опасения.

– А может, наоборот, все станется, – выдавил он сквозь уголок рта. – Говорят, первая любовь не забывается! Впрочем, я фаталист и верю: все, что ни делается, – к лучшему. Мне сия помолвка всегда была как нож по сердцу, не люблю выскочек!

Долгоруков внутренне хихикнул, вспомнив, кем была некая Марта Скавронская да и, если на то пошло, ее племянница Софья, на которой фельдмаршал Сапега в конце концов женил эту сахарную куколку, своего сына, однако благо-разумно смолчал.

– Положа руку на сердце, – продолжал Сапега, и впрямь прижав к этому месту унизанные перстнями тощие пальцы и устремив на собеседника прозрачный взор своих лживых глаз, – я и сам мечтал порвать с Меншиковым всякие сношения, особенно когда узнал, что за младшую дочь его, Александру, сватался принц Ангальт-Дессау, а его высококняжеская светлость, вообразите, отказал ему под тем предлогом, что мать жениха слишком низкого происхождения: она была дочь какого-то аптекаря. Слишком низкого происхождения! – повторил Сапега с непередаваемым выражением, в котором отобразилось его отношение к сверхъестественной карьере Алексашки: от нищего уличного торговца до всесильного временщика, богатейшего среди людей своего времени.

– Славная шутка! – буркнул рассеянно Долгоруков, который слышал об этом уже раз шестнадцать. – Шутка на славу! – И он ткнул собеседника, готового разразиться новой



тирадой, в бок локтем: возвестили о прибытии молодого государя!

С его появлением, чудилось, свечи загорелись ярче и музыка ударила громче – так оживилось все вокруг. Не от отца – угрюмого Алексея, а от деда – великолепного Петра – унаследовал этот одиннадцатилетний отрок, видом и ростом более похожий на пятнадцатилетнего юношу, свое непобедимое, дерзкое, почти назойливое обаяние, которое заставляло окружающих трепетать враз от радости, что упал на них взор царя, – и от страха, что взор этот упал на них. При виде его особенный смысл приобретала пословица: «Близ царя – что близ огня». «Близ смерти», – говорят некоторые наимудрейшие люди... Он был мальчик еще, и основной чертой его натуры было ничем не подавляемое, буйное, непомерное своеволие. Как если бы, провидя свою раннюю кончину, он норовил схватить и попробовать все, до чего только могли дотянуться его слишком длинные даже при его росте руки (наследственная черта!) – руки загребушие, как говорят в народе. И он хватал, хватал этими руками все подряд: жизнь людей, радость, страну свою огромную, абсолютную власть, – хватал, вертел, рассматривал со всех сторон, пытаясь понять, как же это устроено, – и чаще всего отбрасывал, безнадежно изломав. Он был дитя, получившее в качестве погремушек и бирюлек великую державу.

«Мальчишка! Ребенок! Мальчишка!» – именно об этом все время думала Мария, именно это было первой мыслью ее, когда она вошла в большую залу и глянула поверх сотни склоненных в почтительном поклоне голов на одну, темноволосую, задорно вздернутую, встретила глазами с любопытствующим взором своего жениха. Вещая оторопь на миг сковала ее, но Мария была слишком хорошо вышколена, чтобы позволить себе запнуться; вдобавок неподалеку нервно переминалась с ноги на ногу горбунья в ярко-розовом, словно для юной, непорочной девы сшитом платье, а потому Мария, не дрогнув, прошла все эти шестьдесят шагов до середины залы, где ожидал ее жених, и поклонилась.

Петр, конечно, видел невесту и до сего дня: позавчера, когда приезжал делать предложение, да и прежде они встречались, так что ничего нового в ее изысканной красоте для него не было. Однако своим приметливым взором он сразу углядел, что платье на ней сшито по-новому, с весьма открытой грудью, и сейчас, когда невеста присела перед ним, с удовольствием уткнулся взором в декольте.

Зрелище открывалось приятное. Весьма приятное! Мария обладала необычайно белой, как говорится, алебастровой кожей, и холмики, нервно поднимающиеся и опускающиеся в вырезе ее платья, были подобны лебяжьему пуху или

облакам, трепещущим под утренним ветерком. Впрочем, так подумал бы поэт, но Петр отнюдь не был поэтом, а потому он считал, что грудь Марии слишком уж мягка и нежна, а значит, весьма скоро сделается дряблой и увядшей. Три дня тому назад веселый и озорной Иван Долгоруков преподавал юному царю сию нехитрую истину, и сейчас Петру сделалось тоскливо, что в супружеской постели с ним будет из года в год лежать женщина с обвисшими, дряблыми грудями.

Он поджал губы, недобро перевел взор на покорно склоненную, изящно причесанную и до снежной белизны напудренную головку невесты. Она все еще сгибалась в реверансе, ожидая знака государя, его слова или прикосновения, но он медлил, и Маша прикусила губу, ощутив, как задрожали колени. Впрочем, обучение «телесному благолепию и поступи немецких и французских учтивств», то есть церемонным поклонам, реверансам и безупречной выправке, было с малолетства накрепко «затвержено» ее телом, а потому она все еще полусидела в безупречном реверансе как бы без видимых усилий.

Тем временем Петр, который, не то не зная, что надо позволить всем встать, не то забыв, не то просто намерившись позабавиться, озирая бесконечные ряды согбенных мужских спин и опущенных женских голов, вдруг громко потянул носом воздух, и глаза его так и вспыхнули, упершись в еще одну пару грудей, оголенных до того, что из корсета краешками выступали темно-коричневые обводья сосков. Это были не

холмы каких-то там белопенных рыхлых облаков – это были истинно яблочки наливные, спелые, тугие да упругие, приятно выпуклые, блестящие, отражающие огоньки свечей, – прелесть что такое! Неодолимый соблазн! Эх, так бы и впился в них пальцами да ртом отведал их сладости! Петр нервно переступил, ощутив некое шевеленье между ног: кажется, его детский отросточек, которым он вчера мерился с недосыгаемо-огромным удом Ваньки Долгорукова, внезапно ожил. Петр перевел взор на обладательницу сих непревзойденных прелестей, и сердце его ускорило свой бег, когда он увидел стройную талию, рыжие, пышные, ненапудренные, а оттого огнем горящие среди однообразно-белых головок волосы.

Елизавета! Его молоденькая тетушка Елизавета Петровна!

Петр смотрел на нее не отрываясь, и Елизавета наконец глянула на него снизу вверх бойкими темно-синими глазами, в которых бесовски дрожали огоньки свечей, чуть раздвинула в улыбке маленькие, тугие, как вишенки, губки и, слегка передернув плечами (от этого движения налитые груди ее дрогнули, и дрогнуло сердце Петра), вновь опустила глаза, но не уткнулась скромно и покорно в пол, а устремила взор на обтянутые узкими кюлотами бедра Петра, и он чуть не закричал в голос, ощутив этот взгляд, как бесстыдное прикосновение.

Естество его напряглось, и он с ужасом понял, что еще миг – и на штанах образуется весьма неприличная и красно-

речивая выпуклость!

Петр метнулся вперед, вцепился в плечо невесты, дернул:  
– Извольте встать, господа! Я всем вам рад!

Мария выпрямилась, едва сдержав стон: спину после тет-киных уроков заломило невыносимо. Боль застелила глаза слезами, и она слепо, незряче взглянула на своего жениха.

«Черт! Да она меня ненавидит! – вдруг подумал Петр. – И какие у нее уродливые красные пятна на скулах!»

На мгновение он ощутил себя заброшенным ребенком. «Я не хочу! Не буду!» – захотелось крикнуть, но тут рядом слышался густой добродушный голос, в котором чуткое ухо, однако, могло расслышать недовольные нотки:

– Ну, Петруша, ваше величество, чуток ты всех нас не уморил! – И вместо того чтобы броситься прочь, Петр, словно расшалившийся щенок, заслышавший грозный окрик хозяина, с покорной, детской, растерянной улыбкой повернулся к высокому, статному, роскошно одетому человеку, который возвышался над всеми присутствующими не только и не столько ростом и статью, а как бы всем существом своим.

Это был Александр Данилович Меншиков, светлейший князь, адмирал, фельдмаршал, глава Верховного тайного совета, глава Военной коллегии, и прочая, и прочая, и прочая. «Батюшка», словом...

Оживилось все в зале, пришло в мгновенное действо: так куклы на ниточках своих да веревочках действуют в руках

опытного кукловода. Меншиков, будто фокусник из рукава, извлек откуда-то внушительную фигуру архиепископа Феофана Прокоповича, и обряд обручения начался. Условия сего действия были еще вчера обсуждены членами Верховного тайного совета, две цесаревны и голштинский герцог безропотно поставили на протоколе свои подписи; со вчерашнего дня в домах высшей знати только об этом и говорили, а все же каждое новое условие договора встречалось вздохами и восклицаниями восторга (весьма напоминающими горестные и завистливые стенания).

Мария Александровна в качестве царской невесты получила титул высочества и орден Св. Екатерины (ну, на ее прелестной груди он был все же более уместен, чем на груди ее брата, хотя и не больно-то подходил к сине-голубому, украшенному россыпью сапфиров туалету красавицы невесты). Младшая дочь Меншикова, Александра, возводилась в чин камер-фрейлины и удостоена была ордена Св. Александра. Варвара Михайловна Арсеньева получила такой же орден. («Ну хоть будет чем украсить горб!» – пробурчал кто-то, оставшийся незамеченным, однако слова сии тотчас же сделались «летучим словом» и долго еще проливали бальзам на израненные души всех присутствовавших.)

Однако вернемся к государевой невесте, ее императорскому, стало быть, высочеству Марии Александровне. Ей был назначен особый штат двора в 115 человек, а сумма на его содержание – 34 тысячи рублей в год, в том числе на ее

стол – двенадцать тысяч и на платье – пять тысяч. Оставшееся ассигнование предназначалось на жалованье придворным чинам: гофмейстеру, камергеру, камер-фрейлинам, штатс-фрейлинам и прочим, а также обслуживающему персоналу, включавшему лакеев, гайдуков, пажей, певчих, поваров, конюхов, гребцов и т. д.

Весь пышный штат возглавляла Варвара Михайловна Арсеньева. Теплое местечко обер-гофмейстерины, предназначавшееся для нее, должно было приносить ей две тысячи рублей в год.

И много еще было сказано такого (например, о включении светлейшего, невесты и прочих Меншиковых в «генеральный календарь на 1728 год», наряду с царем и членами царского семейства: дочерьми Петра I и брата его Ивана), что крепко испортило настроение гостям, поэтому все с облегчением вздохнули, когда официальная церемония завершилась. После обряда присутствующие стали приносить новообрученным поздравления, сделалась большая давка, все целовали государю руку, а государь целовал поздравлявших в уста и, по обычаю того времени, подносил своими руками в кубках венгерское вино. Замечено было, что красавчик Сапега, бывший жених теперешней царской невесты, осмелился приблизиться к ней и оказывал всяческие знаки уважения и любезности (целовал весьма длительно ручку, шептал что-то, играл миндалевидными рыжими глазами, подавал вино – освежиться ее императорскому высочеству...). В список бу-

дущих фаворитов будущей царицы Петр Сапега стал под номером один.

Потом начались танцы. Потом царь простился с невестой и новыми родственниками, велел всем продолжать веселиться без него и уехал... с Иваном Долгоруковым в Петергоф, на охоту.



### 3. В кустах

Она протанцевала с женихом всего лишь раз, прежде чем он сорвался на охоту, будто школяр – с надоевшего урока. Конечно, отрок, мальчишка, но все заметили, что царь при столь важном событии своей жизни не показал той нежности, какую можно было бы требовать от жениха к невесте. Сбежал после первого же танца, хотя общеизвестно, что танцы служат для начала всякого романа и сближения самым могущественным основанием. И эта вертихвостка, красотка рыжая, цесаревна Елизавета, унеслась вместе с ним, так высоко подобрав юбки, чтоб не мешали быстро бежать, что ее стройные ножки, обтянутые наимоднейшими зелеными чулочками с золотыми, серебряными и желтыми стрелками, открылись чуть не до колен к восторгу всех, кто это видел. Ну что ж, хоть Мария и ощущала всей кожей ненависть к себе этой цесаревны с бойкими глазами, а все ж не могла не признать, что Елизавета – само удовольствие, пыл чувств и страстей. От нее бы, небось, жених не сбежал! Мария мрачно думала об этом, когда Петр Сапега склонился перед своей бывшей невестой и нижайше пригласил ее в менюэт.

Мария медленно пошла с ним. Ощувив значительное пожатие его пальцев, почувствовала себя неловко и смешно, а ведь Сапега, конечно, хотел пробудить в ней память о былом! Она взглянула на него с весьма холодным духом, и во рту

стало как-то... железно, словно объелась варенья или другого сладкого. Ежели б она не влюбилась в Сапегу заочно, лишь по слухам, то никогда не смогла бы очароваться этой приторной красотой – теперь это сделалось ей вполне ясно. Просто удивительно, как больно поразило Машу, что Сапегга, обещавший всенепременно умереть, «когда б жестокие небеса лишили его любви Марии», так легко отступился от нее по приказу императрицы, даже не сделав попытки бежать с ней, хотя это было делом в ту пору весьма распространенным. Сапегга отговорился невозможностью послушаться государыни, но теперь-то Мария знала, что он всего лишь боялся прогневить щедрую любовницу, ибо покойная Екатерина жаловала и отца, и сына.

Маша заученно раздвинула губы в улыбке – хотя улыбка сия была исполнена уныния и печали.

Сапегга, коему она предалась всем пылом юного сердца, отвернулся от нее по одному мановению властительной руки. А мальчик, назначенный ей в мужья, умчался гонять по полям, по лесам, не проявив к невесте и доли той нежности и любезности, каких от него ожидали хотя бы из соображений учтивости!

«Ах, да нужна ли мне его учтивость! – едва не заломила Маша руки в отчаянии. – Нежность его, любезность притворная – мне на что?! Любви надо мне, истинности чувств! Ужели все мужчины не умеют любить и не бывают постоянны?!»

Она зло выдернула руки из чересчур уж осмелевших пальцев Сапеги и испытала легкое подобие удовольствия, увидав, как он обескуражился и даже струхнул.

– Я устала! – сквозь зубы процедила Мария, и Сапега на подгибающихся ногах отвел ее к креслу. Она не удостоила его взгляда, и он стушевался, с тоскою поняв, что вступление в новую блестящую должность фаворита откладывается, пожалуй, до неопределенного времени.

Мария тут же забыла о нем и вгляделась в толпу, выискивая батюшку. Нетрудно его найти – вон, возвышается над присутствующими, и, чудится, некие незримые волны источаются его взором, голосом, этой его манерою слегка похлопывать собеседника по плечу, как бы подчеркивая, что ничего опасаться не стоит, коли рядом всесильный, всемогущий Александр Данилыч Меншиков... и прочая, и прочая, и прочая.

«Да он и впрямь всесилен! – угрюмо подумала Маша. – После того как Сапегу от меня отняли, все ворчал, награды требовал за урон своей чести – вот и востребовал. А сейчас он здесь, словно повар, да, вот именно, словно повар, который мешает щи: в одну сторону поведет уполовником – и все овощи туда завертятся, в другую – пожалуйста, туда! Вот так он кружит всех – и меня с ними вместе. И какая чушь, будто бы лишь от моего брака с государем зависело его счастье и благополучие! Это для него просто еще один бриллиант в

корону... а что его даже и не видно в блеске остальных, так ему сие безразлично... я ему тоже безразлична, и счастье мое, и сердце».

Звонкий, торжествующий смех послышался сзади, и Маша недоверчиво оглянулась, не сообразив, что кто-то может быть нынче радостен и счастлив – в день ее величайшей тоски! Она и глазам своим не поверила, увидав, что сим молодым, счастливым смехом заливается тетушка Варвара Михайловна – столь розовая и возбужденно-суетливая, что даже горб ее как бы стушевался, и теперь она была только маленькой сухонькой уродиной. Она стояла в кружке дам и девиц и задирала к их губам свою ручонку, похожую на цыплячью лапку, причем те, делая на лицах улыбку, покорно принимали ручку Варвары Михайловны и чмокали над ней воздух. Маша тупо смотрела на все это, казавшееся ей сперва какой-то игрой, и не постигая, как же высокороднейшая, хотя и обедневшая Нарышкина позволяет своей молоденькой дочери целовать руку у Варвары Арсеньевой, конечно, не выискивающей в родовитости благодаря браку своей сестры Дарьи с бывшим конюхом! И вдруг до нее дошло: ручку целуют вовсе не Варваре Михайловне, а обер-гофмейстерине двора ее императорского высочества, государевой невесты! Эти дамы ищут себе или своим дочерям доходных должностей при дворе: ведь именно старой интриганке обер-гофмейстерине предстояло подбирать будущих фрейлин, от нее зависело, кого принять, кому отказать!

«Это ведь все для тебя! — вспомнились теткины слова. — Придет день — сама же меня отблагодаришь!»

Да, как же! Все они здесь, от батюшки и тетушки до глупенькой Нарышкиной, ищут лишь своего счастья, а она, Маша, для них лишь монетка, за которую сие счастье будет куплено... лишь ступенька, на которую они спешат подняться!

Схватила за горло, желая подавить рыдание, но тут же выпрямилась, вздернув голову. Если даже она умирает, никто не сможет насладиться этим зрелищем!

Маша сделала неприметный шаг назад, потом еще один — и как бы растворилась меж тяжелых портьер, закрывающих двери.

\* \* \*

Она еле дотащилась до своей опочивальни: расшитое серебром да сапфирами платье показалось вдруг нестерпимо тяжелым. И совсем не было предусмотрено, что обладательница этого платья задумает снять его сама: все застёжки и шнуровка были на спине. Так что к тому времени, пока Маше удалось что развязать, а что оторвать, но все же выбраться из жестоких парчовых лат, она была порядком измучена, а настроение отнюдь не улучшилось.

Юбка, из которой она с отвращением выскочила, так и осталась стоять колом посреди комнаты, корсаж загремел, будто жестяной, когда Маша швырнула его в угол... Даже

тонкое дорогое белье сделалось вдруг противным, и Маша содрала с себя батистовую расшитую рубашку, надев не менее тонкую и дорогую, но не оскверненную «соучастием» в отвратительной церемонии обручения.

Потом еще драла гребнем волосы, слишком озлобленная и упрямая, чтобы хотя бы горничную девку себе в помощь позвать, а когда увидела, какой клочок оставила на гребне, торопливо смахнула слезинку, зная, что если даст себе сейчас волю, то зайдется в рыданиях надолго. Пересилив себя, надела домашнюю юбку, рубашонку, какие нашивала только в своей комнате, при туалете, да присела у окошка, надеясь успокоиться зрелищем ясной майской ночи.

В облике их дома Александру Данилычу удалось навести строгий немецкий порядок, столь любезный некогда сердцу Великого Петра, и этим же ранжиром был затронут парадный сад перед фасадом, куда выходила большая зала, где сияли огни и откуда доносилась непрерывная музыка. Однако та часть сада, которая оказалась позади дома, еще не поддавалась упорядоченному влиянию парковой моды. Дорожки были намечены – и пропадали в зарослях, куртины имели вид растрепанный, а до клумб не всегда доходили руки садовников: цветы буйствовали, переплетались, переползали на дорожки... Уже и сейчас, в конце мая, сад имел вид вполне непроходимых дебрей, окутанных белым душистым облаком цветущей черемухи. И это облако звучало на все лады соло-

вынным пением.

Да, ведь настала самая соловьиная пора, когда серые неприметные певцы словно касаются незримыми перстами сердец человеческих и заставляют их то биться быстрее, то замирать, то неровно, упоенно трепетать, не постигая, земные ли голоса или хоры ангельские искушают душу несбыточными мечтами о вечном счастье, что зовется любовью.

Мария облокотилась о подоконник и подняла взор к небесам, чая хоть малого утешения за все свои страдания. Ничто лучше этой сверкающей и сияющей ночи не могло заставить юную девичью душу забыть о покорности и возмечтать о счастье.

Ясная луна плыла меж блекло-дымчатых облачков, которые при ее приближении рассеивались незримою силою и ни на миг не затмевали ее полновластного сияния. Близ прекрасной луны тускнели звезды. Чудилось, они покорно укрывали свой лик покрывалом, чтоб она одна на всей земле светила полною славой. Но в отдалении, там, где их не гасила ревнивая властительница ночи, звезды плели свои сверкающие кружевные узоры, вели вековые хороводы созвездий, соперничая друг с другом в блеске и яркости. Были звезды столь же большие и сверкающие, словно алмазы в наряднейшем царском уборе. Были помельче и поскромнее, но тоже ясные, светлые, словно глазки ангелов, божьих деток. Были звезды – легкие искорки, то вспыхивающие, то гаснущие, игривые огонечки некоего небесного костра, из коего

излетают они, рассеиваясь по ночным просторам. Ну а иные звезды были – словно эхо уже умолкших голосов, словно холодный белый дым давно угасшего пожара, словно струйка заоблачной метели. Словно след, ведущий ниоткуда и в никуда... мечта, тоска, любовь!

Вот и звезды, оказывается, светили о любви... а соловьи вторили им неумолчно.

Бог весть сколько просидела Маша под окошком, окутанная этими переливами, и трелями, и коленцами, и щеко-том, и бульканьем, и перекликом, и певучею дразнилкою, и насмешкою, и томительными жалобами, и страданиями, и стонами свершившегося счастья, что звучали в птичьих голосах, пока все они не насытили сердце свое пением и не умолкли друг за дружкой... кроме одного голоса, который заливался да заливался, с поразительным постоянством повторяя одну и ту же трель, растравляя Машины сердечные раны. Она высунулась в окно и шикнула довольно громко, однако самозабвенный певец ничего не слышал. Зато за дверью слышались торопливые шаги и резкий голос проклятой горбуны:

– Марья! Машка, сукина дочь! Куда подевалась? А ну, подь сюда!

Итак, обер-гофмейстерина в такой ярости, что даже забыла про политес. Неужто опять начнутся оплеухи да заушины, что племянница осмелилась сбежать с бала?

«Ох, – с прежней страстью возжелала Маша и даже руки



к груди прижала, – вот дайте доберусь до трона – уж я тебе покажу, тетушка родимая, кто нынче над кем хозяйка!»

Но до трона было еще далеко, а в это время тетнины парчовые юбки грохотали уже возле самой двери.

Маша не думала ни мгновения: вскочила на подоконник и, тихонько ахнув, ступила на узорчатый карниз, опоясывающий дом.

Она сделала два-три трепетных шажка, цепляясь за стену, и смогла ухватиться за плюшевую плеть, тянущуюся от земли до крыши. Но, как только Маша отцепилась от стены, плеть качнулась, Маша невольно потянулась за ней – и, не успев глазом моргнуть, повисла на лиане, поехала по ней, ощутив острую боль в ладонях... и очутилась на земле истинным чудом прежде, чем плеть хрустнула и оборвалась, опутав Машу своими кольцами.

От изумления она осталась сидеть на корточках, прикрытая остро пахнущим месивом из веток и листьев, и это спасло ее от взгляда разъяренной тетушки, которая высунулась из окна, но не увидела ничего, кроме черно-белой ночи. Послышался ее новый вопль, исполненный ярости и разочарования, а потом все стихло, и Маша осмелилась наконец выбраться из своего душистого укрытия, чтобы увидеть, что окно в ее комнате уже закрыто изнутри...

Она растерянно огляделась, вынимая из волос листья и древесную труху, и с изумлением обнаружила, что соловей-то все еще поет! И, движимая тем самым нерассужда-

ющим любопытством, которое заставляет людей совершать судьбоносные поступки, она вошла в белоснежные, благоухающие заросли черемухи и уже через несколько шагов увидела того, кого искала.

Только это был не соловей.

Она увидела высокого мужчину – черного, как черная тень стволов, тонкого и стройного, который стоял, сложив руки у рта, и высвистывал те самые томительные соловьиные трели, которые выманили Машу в сад.

Его лицо недолго пряталось во тьме: лунный луч проник сквозь ветви, и Маша разглядела малую свистулекку в руках незнакомца. Да нет, почему же незнакомца? Ведь это был Бахтияр!

\* \* \*

– Ты! – возмущенно выкрикнула Маша, и Бахтияр, сильно вздрогнув, открыл свои самозабвенно зажмуренные глаза. – Это не соловей! Ты свистел? Зачем?

Он не сразу смог ответить, глядя расширенными черными глазами в ее разгоревшееся лицо. Потом разомкнул губы:

– Да так... свистел, как бюль-бюль <sup>8</sup>: думал, может, высвищу какую-нибудь себе пташку... слетит она ко мне со своего наместа. Вот видишь – и высвистел.

---

<sup>8</sup> Соловей (*татарск.*).

– Я не к тебе, – заносчиво промолвила Маша, – я только поглядеть, кто тут заливается.

– Я и заливаюсь, – ответил он, – значит, ко мне.

Маша резко повернулась, собираясь уйти.

– Что ж ты не на балу? – спросил Бахтияр. – Гости еще не разъезжались. Пляшут в честь твоего счастья, а ты...

При слове «счастье» Маша резко обернулась. Круглое, мальчишеское лицо Петра, круглые, кошачьи, возбужденные глаза вдруг возникли перед внутренним взором, и Маша содрогнулась от неодолимой неприязни. Счастье! Ничего себе – счастье!

– Зазябла, джаным? <sup>9</sup> – тихо промолвил Бахтияр, делая к ней шаг. – Вели – согрею...

Она только глазами на него повела, только глянула – а он вдруг рухнул на колени, обхватил ее ноги и, не успевшая от неожиданности Маша даже пискнуть, принялся покрывать поцелуями ее бедра, живот, и губы его опаляли ее кожу даже сквозь ткань.

– Что это? Что ты? – выдохнула Маша, теребя, глядя черную кудлатую голову, приникшую к ней, не понимая, то ли отталкивает ее, то ли прижимает к себе еще крепче.

Чтобы не упасть, Маша схватилась за него, и его горячие руки накрыли ее дрожащие пальцы.

– Помнишь, говорил – покажу счастье? – хрипло прошептал Бахтияр. – Показать, звездочка рая?

---

<sup>9</sup> Душенька (татарск.).

Маша молчала, ловя выражение его глаз – и не видя ничего, кроме жидкого лунного серебра, наполнившего их до краев.

Страшно вдруг стало, жутко. Словно ступила на талый ледок – знает, что рухнет, не может не рухнуть, уж и трещинами весь пошел! – а безрассудное сердце манит идти дальше, еще дальше... Слезы подкатили к глазам от этого страха, и Бахтияр, поднявшись, прошептал жарко: «Не бойся, русская роза!» – прямо в ее дрожащие губы.

Она успела вздохнуть только разочек, а он накрыл ее губы своими, стиснул, быстро обласкал языком – и оторвался от нее, и приник опять, при каждом поцелуе глубоко проникая языком в ее рот – и отдергивая, и еще, и еще раз, и снова, в завораживающем, непрерывном чередовании. Их слившиеся тела колыхались в ритме этих резких, отрывистых поцелуев.

Остатки девичьей осторожности, чудилось, вскрикнули в ее голове на разные голоса: матушкин, теткин, нянькин, на голоса подружек, с ужасом и восторгом смакующих подробности судеб невест, доставшихся женихам распечатанными... И холод пробежал по оголенным Бахтияром плечам, когда представилось, будто кто-то, столь же случайно, как и сама Маша, вдруг забредет в эти заросли и увидит государеву невесту в объятиях черкеса! Но тот, казалось, разгадал ее мысли, потому что подхватил Машу на руки, прошептал, приникнув пылающими губами к ее груди:

– Не бойся ничего! Никто не увидит! Никто не узнает! Уйдешь от меня, какая пришла, не сорву я чадру с твоего лона! – И торопливо зашагал в глубь сада.

Маша откинулась в его руках, чувствуя жгучий восторг от того, что поступает наконец-то не по теткиной, не по отцовой воле, а по своей, по своей!

Казалось, страсть несла Бахтияра на крыльях, ибо в считанные мгновенья он оказался довольно далеко от дома. Место это называлось «Каменный сад»: здесь среди разнообразно подстриженных кустов стояли камни самых причудливых очертаний. Это была уже граница владений Меншикова: за забором чернела Преображенская роща, и здесь можно было не опасаться случайного взгляда.

Бахтияр опустился на колени, заставив Машу повернуться к себе спиной и тоже стать на колени. От удивления она подчинилась, как кукла, ежась от поцелуев, которыми он осыпал ее плечи. Вдруг Бахтияр резко толкнул Машу вперед, так что она упала плашмя, а потом, подхватив ее под бедра, поставил на четвереньки вплотную к себе, задирая юбку.

Блаженства забытья как не бывало! Маша закричала от страха, рванулась вперед, упала. Бахтияр навалился сверху, шарил по ее спине, но Маша так билась под ним, что он придавил ее ноги коленом и, запаленно дыша, прохрипел:

– погоди! потерпи! Это в первый миг больно – потом стерпишь! Я ж для тебя как лучше, не то прорву тебя – жених-то потом сразу поймет, что не девка!

Маша никак не могла взять в толк, что он там бормочет, что намерен сделать с ней, — чуяла лишь, что нечто ужасное, и рвалась, охваченная ужасом, пытаясь сбросить с себя Бахтияра.

Каким-то образом Маша исхитрилась вывернуться из-под него, но встать на ноги не успела: разъяренный Бахтияр резко перевернул ее на спину, схватил под коленки так, что она закричала от новой боли, и замер меж ее широко раздвинутых чресел.

— Не хочешь по-моему? — шепнул злобно, глядя в ее разверстое лоно. — Ну так получи!

Маша приподнялась, силясь оттолкнуть его, свести ноги, пронзительно закричала, не помня себя, и вдруг Бахтиярова хватка разжалась, и ноги ее безвольно упали наземь.

Какие-то мгновения она лежала, с ужасом ожидая, что черкес опять накинется на нее, но вдруг увидела над собою нахмуренное светлоглазое лицо, услышала торопливый встревоженный голос:

— Жива, красавица? Жива? Он сделал с тобой стыдное? Ну? Говори!

Незнакомец сердито тряхнул ее — у Маши мотнулась голова, как у куклы, клацнули зубы.

— Н-не-е-ет... — выдавила она. — Господь миловал...

— Вот уж правда что! — отозвался незнакомец. — Ну, коли так, убивать его до смерти я не стану, разве что поучу

немного.

И он оглянулся, так что Маше сделался виден лежащий ничком Бахтияр. Маша с отвращением вскрикнула, закрылась рукою, однако незнакомец ласково отвел ее ладони от лица:

– Ничего не бойся, милая! Он тебя больше не тронет. Иди своей дорожкой. Да впредь будь осторожнее с такими дьяволами!

Маша, моргая, взгляделась в его лицо: светлые глаза смеялись, искры лунного света шаловливо плясали в них, – нерешительно улыбнулась в ответ... да вдруг, вспомнив, что ему привелось увидеть, повернулась и опрометью кинулась прочь, в глубину сада, не чуя под собою ног от лютого стыда.

## 4. «Юнец зело разумный»

– А может статься, вся беда в том, что вы премного от него ждете того, чего он дать не в силах?..

– Ну вот еще! – проворчал Алексей Григорьич. – Не в силах! Сам не может – стало быть, надобно втемашить ему, что надобно!

Василий Лукич Долгоруков, двоюродный брат Алексея Григорьича, помалкивал. Ему понравилась осторожная точность вопроса, заданного племянником Федором; нравилось, как сдержанно, словно пробуя ногою зыбкую почву, он говорит:

– Нравственная физиогномия одиннадцатилетнего ребенка не может быть точно определена. Однако я слышал, будто сестре своей он написал особенное письмо, в котором обещал подражать Веспасиану <sup>10</sup>, который желал, чтобы никто никогда не уходил от него с печальным лицом.

– Да ну?! – вытаращил глаза Алексей Григорьич. – Это откуда ж ты успел такое вызнать?

Молодой князь Федор небрежно повел бровями, словно хотел сказать: «А, так, мелочь, сорока на хвосте принесла!» Однако Василий Лукич мысленно похлопал в ладоши: всего только два-три дня, как племянник воротился из Парижа, а уж цитирует государево частное письмо. Да, похоже,

---

<sup>10</sup> Римский император, известный своим человеколюбием.



прав был покойный император Петр Алексеевич, когда называл этого долгоруковского отпрыска «юнцом зело разумным» и на десять лет заслал его, тогда вовсе мальчишку зеленого, за границу: изучать языки, историю мировую, чужеземные обычаи, а пуще – ту хитрую науку ставить подножку целым государствам, коя именуется тайной дипломатией. Василий Лукич знал, почему вернулся племянник. Всесильный Меншиков делал все более крутой крен в сторону союза с Австрией, еще в 1726 году заключив договор с нею, что означало согласованную политику в отношении Польши, Турции и Швеции. Франции при таком раскладе места в планах России как бы и не нашлось. Конечно, можно было сколько угодно отговариваться тем, что русские-де обиделись, когда Людовик XV предпочел цесаревне Елизавете Петровне Марию Лещинску, дочь экс-короля Польши Станислава. Но ведь из ста принцесс, которые могли бы претендовать на французский престол, были отвергнуты 99, а ни одна из этих стран не объявила Франции войну, не отозвала своих послов, не подстроила втихомолку пакость, так что мотивы русских сочли несерьезными. А зря! Этот маневр Меншикова тоже был следствием изменившегося отношения светлейшего к юному Петру – по матери родственнику австрийского монарха. Все это не могло не сказаться тотчас на судьбе всех русских дипломатов во Франции.

Князь Федор, как умный человек, пожелал своими глазами увидеть, что происходит на его родине, и глаза сии ока-

зались, по мнению Василия Лукича, достаточно зоркими.

— Конечно, светлейший князь весьма умный человек... — пробормотал Федор.

— Для спокойствия и чести России было б лучше, если бы он оказался не столь умен! — вспыхнул Алексей Григорыч.

Василий Лукич обменялся понимающим взглядом с Федором: спокойствие и честь России для Алексея Долгорукова означали прежде всего его собственное спокойствие и честь.

— Ну что ж, — пытаюсь отвлечь сердитого дядюшку, сказал князь Федор, — новый государь приветлив, народ с удовольствием приписывает ему черты великодушия, доброты, снисходительности, которые сделали бы из него примерного царя. И он вовсе не так уж похож на деда, как можно было бы опасаться.

— Это уж точно! — усмехнулся Василий Лукич. — Они схожи лишь по двум статьям: оба в отроческом возрасте получили самодержавную власть, и оба не терпели никаких возражений, непременно требовали, чтобы все делалось как им хочется. — И добавил с невольным вздохом: — У того, старого, прежнего, во всем была видна любознательность, желание научиться и создавать новое, а наш, теперешний, только и повторяет, что знатным особам нет необходимости быть образованными, а царь, как он есть выше всех, вовсе не нуждается в надзоре людей, которые имели бы право его останавливать.

— Вот как? — присвистнул Федор. — Так чего же вы тогда

боитесь, судари мои? Все само собою в вашу пользу сделается!

– Это каким же манером? – сухо поинтересовался Алексей Григорьич, которого, в отличие от двоюродного брата, немало раздражали эти новые, кичливые Федькины замашки. Ишь, прикатил из заморских земель, знать ничего не знает толком о тутошних делах, а держится так, будто все это время просидел где-то в схороне, украдкой наблюдая враз за всем, и лучше прочих ему ведомо, что и как станется! – Это каким же манером, желательно мне узнать?

– Да таким, очень простым, – проговорил Федор, небрежно пожав плечами, – что если царь молодой и впрямь к посторонней указке нетерпим, то он скоро Александра Данилыча от себя отринет, ибо, сколь мне ведомо, тот коня в поводу не ведет – непременно стреножить норовит.

Василий Лукич захекал, подавляя смешок: юнец ему нравился все больше.

– Ждать, говоришь... – пробормотал Алексей Григорьич. – Ждать да догонять – хуже некуда. Ах, ежели б удалось Алексашку пред царем обнести <sup>11</sup>, да и лгать-то ведь не надобно – есть за что!

– Да хоть бы за указы прекратить сборы, самовольно установленные Малороссийской коллегией, прекратить ее фактическое управление сей провинцией, а в Малороссии на октябрь назначить выборы нового гетмана, – подсказал Федор

---

<sup>11</sup> Оговорить (*старин.*).

как бы между прочим. – Что сие, как не ущемление великодержавных интересов? Прав был Петр I, когда после измены Мазепы не доверял уже стране, где лица, стоящие вверху, заявили себя неискренними друзьями России! Скоропадский, человек недалекий, нестойкий, был именно нужной фигурой на посту гетмана, всецело подчиняясь верховной власти.

– Ну, Данила Апостол, коему светлейший прочит гетманскую булаву, тоже не орел, – уточнил Алексей Григорьевич. – Ему на восьмой десяток перевалило, будет кости на печи греть и все по российской указке делать.

– Возможно, что так, – согласился вежливый Федор. – Но будет создан, как говорят англичане, прецедент, случай: выборы! Умрет Данила Апостол – малороссияне пожелают выбирать себе другого гетмана, и кто поручится, что на этот пост не встанет человек, для коего национальное самосознание не окажется выше державных интересов?

– Национальное самосознание? – с некоторым трудом выдавил из себя незнакомое словосочетание Алексей Григорьевич. – Это что еще за птица такая?!

– Гордость за то, что он хохол, а не кацап, – объяснил князь Федор предельно просто. – Умные люди уверяют, что национальное самосознание является лучшей объединительной силой для того или иного народа, но ничто не служит разъединению его с другим народом, национальной розни лучше, чем его национальное самосознание. Это закон, которого избежать невозможно!

Братья Долгоруковы переглянулись, потом Алексей Григорьич вздохнул:

– Не умничай, Феденька. Больно мудрено ты говоришь, а главное – кой хрен молодому царю в этом национальном как его там?! Ему проще войска в Малороссию вести, но думать про это вот... тьфу, и не выговорить! Нет ли у тебя еще какой мыслишки, попроще?

Глаза Федора блеснули, и Василий Лукич насторожился. Сейчас станет ясно, способен Федька только словами играть или же с него все-таки толк будет.

– Вы, дядюшка, упоминали, что ваш Иван совместно с Александром Меншиковым к персоне государевой приставлен?

– Да. И сказывал Ванька, царь при том Александре скучает и впадает в уныние.

– Вот и славно! – стукнул себя кулаком по колену Федор. – Надобно усилить сие, надобно усугубить влияние Ивана на царя! Да чтоб втихомолку он возбуждал в государе нерасположение к Александру, а стало быть, и к светлейшему князю. Меншиковы его заставляют учиться да в Совет ходить, а Иван пусть его к забавам приучает веселым, на охоту водит... ежели не ошибаюсь, царь к охоте весьма пристрастен?

– Столько пристрастен, что даже после обручения своего умчался на охоту! – злорадно сообщил Алексей Григорьич. – То-то рожа у Данилыча вытянулась!

– Теперь об обручении, – кивнул Федор.

– В нем-то вся и загвоздка! – перебил его Василий Лукич. – В результате брака царя со своей дочерью Меншиков, до седых волос так и не научившийся грамоте, может породниться с царским домом и стать регентом при несовершеннолетнем государе. А это гибель для всех, кто ему осмелится противоречить хоть в малой малости – как я, например, когда помешал этому глупому <sup>12</sup> получить еще и титул Курляндского герцога!

– А ежели обручение будет расторгнуто? – спросил Федор с улыбкою. – Не будет брака – не будет и всецелия его высококняжеской светлости? Так ведь?

– Так, так, – враз кивнули дядюшки.

– Стало быть, нам надобно исхитриться, чтобы венчания не было, только и всего! – ласково, будто неразумным деткам, сказал князь Федор.

Алексей Григорыч минуту смотрел на него молча, потом махнул рукой, плюнул – и вышел, тяжело шибанув дверью о косяк.

Князь Федор оглянулся на второго дядюшку. Тот успокаивающе кивнул:

– Алексей горяч, ох, горяч, буен! Не любит пустых мечтаний! Однако, сдастся мне... – он пытливо вглядывался в племянника, – сдастся мне, ты не просто так словами бросаешься, а надеешься на что-то? Не так ли?

– Пока сказать не могу, – искренне отвечал Федор. – Пока

---

<sup>12</sup> Ненасытному, жадному (*старин.*).

все лишь замыслы. Твердо знаю одно: надобно вырвать государя из-под неусыпного взора светлейшего хоть ненадолго. А как сделать сие – мне надобно на месте поглядеть.

– На каком месте? – не понял Василий Лукич.

– На месте будущего сражения, – пояснил племянник. – В доме Александра Данилыча, куда я сей же час отправлюсь с визитом, точнее, с рекогносцировкой. В конце концов, когда великий государь Петр Алексеевич меня перед поездкою напутствовал, светлейший присутствовал при сем, так что и он к моим успехам как бы сопричастен. Должен же я по возвращении засвидетельствовать ему свое нижайшее почтение!

– Должен, должен, – одобрительно кивнул Василий Лукич. – А что? В самом деле, направляйся-ка ты на Преображенский остров. Там, может статься, и государя застанешь, ежели он не бьет баклуши где ни попадя.

Скинуть Меншикова, а царя окружить Долгоруковыми, Остерманом, Голицыным – с такой командой великорусский корабль вновь обретет остойчивость, хоть капитан еще в возрасте юнги, подумал с надеждою Федор. Теперь же главное – расстроить сей опасный брак, но прежде надо поглядеть, сколь опасна невеста. Приехавший из Франции, где роль женщины и любви в истории страны никогда не отрицалась, князь не мог недооценивать опасность не столько даже Меншикова, сколько его дочери. Если она не просто красива, но хитра да умна, задача в сто крат осложнится. Впрочем, слепой сказал «побачимо», вспомнил Федор малороссийскую

пословицу и невольно засмеялся невпопад.

Дядюшка, который подробно и неодобрительно описывал меншиковский дворец на Преображенском острове, воззрился на него недоуменно, и Федор пояснил:

– Я знаю, где это. Сказать по правде, я там уже был сразу по приезде.

– Да ну? – не поверил ушам Василий Лукич. – И какой же в том был смысл? В тот день все мы из-под палки веселились на этом треклятом обручении, светлейшему было не до гостей. Тебя наверняка не приняли!

– А я не в гости шел, – усмехнулся князь Федор. – И камзола вот этого сияющего не надевал, и головы не пудрил. Облачился я в лопотину <sup>13</sup>, какую у Савки, человека моего, позаимствовал, да и пошел пооглядеться, поразведать, дом посмотреть...

– Ну и чего высмотрел? – быстро спросил Василий Лукич, чуткое ухо которого уловило в голосе племянника какие-то особенные нотки.

– Да так, применился мало-мало к местности, – уклончиво ответил князь Федор и обратил на дядюшку вдруг загоревшийся любопытством взгляд: – А скажите-ка мне, дядя, кто в доме светлейшего есть такой черномазый, усатый... чечен не чечен, татарин не татарин – словом, черкес?

Василий Лукич даже не счел нужным сделать вид, что задумался, и по скорости его ответа племянник мог понять,

---

<sup>13</sup> Рвань, поношенная одежда (*старин.*).



что и в доме светлейшего у Долгоруковых есть свои люди, а потому про каждого тамошнего жителя они знают всю подноготную.

– Это не Данилычева челядь, – отмахнулся он небрежно. – Это черкес Варвары Арсеньевой, заразы этой горбатой. Ближний человек у нее, шпион и постельный угодник, Бахтияр именем... А что тебе в нем?

– Ох, сволочь же он! – с мальчишеским жаром воскликнул Федор. – Я вчера невзначай такое увидал – до сих пор с души воротит. Бахтияр этот, сучий выползень, затащил в кусты какую-то девку и норовил с нею содомский грех сотворить!

– С девкой-то? – не поверил ушам Василий Лукич. – Да разве сие творят с девками? Я слышал, лишь промеж мужчин такое ведется.

– Вот именно! – воскликнул Федор. – А когда она не далась, хотел ее простым манером ссильничать, но тут уж... тут уж...

Он умолк, и прозорливый дядюшка не смог не угадать:

– Но тут уж ты, лыцарь, вмешался, злодея осилил и красотку освободил, не так ли?

Федор смущенно улыбнулся:

– Она и впрямь красотка. Беда, рваная вся да зареванная, однако ж глаза... ноги... я таких и не видал! Яхонт! Чудо что за ноги! Крепостная небось. Я б купил...

На лицо его взошло юношеское, мечтательное выражение, и Василий Лукич в притворном ужасе воздел глаза:

– Ты мне эти афродитские дела брось, не до них сейчас! Я думал, у нас один гулеван в семействе, Ванька, ан нет – еще и заграничный ухажер препожаловал. Полно повесничать! Нашел с кем силою мериться – с безродным черкесом! Твое счастье, что вчера в темноте да переодетым схватился с Бахтияром: он Варваре-горбунье первый наушник, она ему ни в чем не откажет, а ее, злого гения, сам светлейший почитает да слушает. Встретишься в меншиковском доме с Бахтияром – рыло-то отверни, чтоб не спознал тебя нехристь этот, а он, знай, глазастый, что твой барс. Понял? Слышишь ли?

– Слышу, слышу! – рассеянно прикладываясь к дядюшкиной руке на прощанье, пробормотал Федор. – Слышу и все понимаю!

Он направился к двери и уже взялся за ручку, да обернулся – и то же выражение светлого юношеского восторга засияло в его глазах:

– А девка все ж хороша! Диво! Я б купил, ей-пра, купил бы!

– Да иди, черт! – в сердцах крикнул Долгоруков.

Князь Федор вышел смеясь.

«Юнец зело разумный!» – вспомнилось вдруг Василию Лукичу. Не больно-то...

Он всегда доверял своим предчувствиям и потом, спустя долгие годы, клял себя за то, что не схватил тогда Федора за руку, не остановил.

Но время было упущено... упущено!

## 5. Еще один жених

– Его высокопревосходительство светлейший князь Александр Данилович с их величеством и их высочествами изволят быть на охоте, – возвестил дворецкий, и князь Федор с трудом удержал усмешку: своего хозяина этот разряженный в сверкающую ливрею толстяк поименовал первым, даже перед императором. Воистину, сейчас Меншиков – самодержец всея Руси, хотя бы в глазах своей прислуги!

– В самом деле? – Князь Федор изобразил огорчение. – Кто же дома?

– Ее высокопревосходительство госпожа оба-граф... убей-гоф-буф-мерина... – Толстяк запутался, князь Федор поджал губы, чтобы не прыснуть: «убей-буф-мерина» было, очевидно, званием Меншиковой свояченицы, новой обер-гофмейстерины двора. Титул, полученный лишь на днях, прислуга еще не успела вытвердить. – А также Марья Александровна да Александра Александровна дома изволят быть, – продолжал мажордом. – Как прикажете доложить?

– Не трудись, друг мой, докладывать, – по-дружески попросил князь Федор. – Я дорогу знаю – сам найду кого надобно. – И он сунул монетку важному мажордому, который чуть не упал от изумления: русские крепостные были не приучены получать благодарность иную, кроме похлопывания по плечу; европейскую моду чаевых князь Федор усиленно вво-

дил в России уже третий день – сколько был дома – и не сомневался, что она привьется. Не дожидаясь, пока дворецкий вернет на место отпавшую челюсть, князь Федор обернулся к своему камердинеру Савке, которого прихватил с собой – так, на всякий случай, повинуясь некоему предчувствию, кивнул ему – для других это было просто небрежное приказание ожидать своего барина, и только они двое знали истинный смысл сего знака, а потом спокойно прошел мимо согнувшегося в поклоне мажордома и взбежал по широкой лестнице.

Он ничуть не был огорчен отсутствием хозяина хотя бы потому, что прекрасно знал об оном отсутствии и нарочно явился в это самое время – продолжить свою тайную рекогносцировку. За тот час, который, по его расчетам, оставался до окончания охоты, он уж постарается как надо оглядеться на вражеской территории. Бог знает, что надеялся увидеть Федор, что собирался искать, но он знал по опыту, что дом часто выдает внимательному взору как самые сильные, так и самые слабые стороны своих хозяев. Какую-то слабину Меншикова он и надеялся сыскать. Конечно, самому себе он мог признаться, что рассчитывал невзначай повстречать ту самую красотку... впрочем, так или иначе он ее найдет, не сомневался Федор. Пока же – дело!

Комнаты были пусты: правда, у дверей стояли лакеи в париках и ливреях, но они зная открывали и закрывали двери, не делая ни малой попытки помешать незнакомому человеку

следовать пышной анфиладою туда, куда ему требуется.

Князь Федор немало навидался в Париже, однако не замедлил бы поклясться, что этакую роскошь, пожалуй, встречал только в королевском дворце. Иного слова, чем «великолепие», к убранству дома светлейшего применить было просто невозможно. Князь Федор был образованным человеком и ценителем искусств, а потому, глядя на полотна в золоченых рамах, достойные галереи Уффици, изящные мраморные статуи, на роспись плафонов и стен, на коллекции оружия, фарфора, китайских шелков, античной терракоты, турецких гобеленов, лионских кружев, итальянских музыкальных инструментов и всего прочего, неопишущего по количеству и красоте, он отдавал невольную дань уважения Меншикову. Пусть не по потребности, а по необходимости соответствовать рангу, но временщик все же окружил себя изысканнейшей красотой, которая не могла не оказывать влияния на тех, кто живет в этом дворце или хотя бы здесь бывает. В отличие от домов других русских бар, где сокровища разных стран, эпох и стилей вынуждены были беспорядочно соседствовать, подавляя и соперничая друг с другом, здесь всему нашлось свое, выигрышное, место. Была даже шахматная комната, войдя в которую Федор аж зубами скрипнул от зависти, ибо, относясь к самой игре вполне равнодушно, он питал слабость коллекционера к редкостным наборам, а здесь были образцы уникальные, красоты поразительной! Чего стоили, например, шахматы в виде индийских бо-

гов и богинь... Но вершиной собрания, конечно, были монгольские шахматы в виде злых духов, каких только способно представить воображение, исполненных с тем тончайшим, почти сверхъестественным мастерством, на какое способны лишь азиатские мастера.

Князь Федор обратил внимание, что все эти редкости собраний здесь не только для коллекции: Меншиков любил играть в шахматы, так что он не мог отказать себе в удовольствии частенько наслаждаться этой красотой. Федор едва не расхохотался, заметив самое верное тому подтверждение: у всех белых ферзей во всех наборах были обкусаны головы! По старым временам он помнил, что Александр Данилыч всегда играл только белыми (ну разве что в партии с Великим Петром соглашался тянуть традиционный жребий), а задумавшись или оказавшись в сложном положении, снимал с доски ферзя и начинал его покусывать. Только у больших деревянных шахмат, грубых и тяжелых, стоявших прямо на расчерченном клетками полу, ферзева голова пребывала в сохранности: наверное, Данилыч поостерегся сломать зубы, грызя этот чурбан!

Вообразив сию картину, князь Федор не сдержался-таки и хохотнул, однако тотчас осекся, услышав за дверью шаги и голоса. Первой мыслью было, что воротились охотники, однако то, что он услышал, ничуть не напоминало возбужденный разговор веселой кавалькады. Раздавались всего два голоса: один бранился, другой что-то робко бормотал.

Князь Федор оглянулся и увидел близ изразцовой печи маленькую дверь, возле которой не было лакеев: очевидно, она вела в приватные помещения. Без малейшего угрызения совести он шагнул за портьеру и приник к этой двери ухом – как раз вовремя, чтобы услышать визгливый женский голос, возвестивший с истерическими нотками:

– Зря я тебе шею не свернула в прошлый раз, потаскуха непотребная, место отхожее, подстилка зас...я!

Вот те на! Федор невольно отпрянул от двери, как будто вдохнув крепкого зловония. Дама не стесняется в выражениях! Кого же это она так чехвостит, интересно знать? Верно, служанка загуляла или вовсе уж в подоле принесла, вот и получила в полную меру.

– Да как вы осмелились, тетенька! – взорвался за дверью другой голос, высокий, струной дрожащий от гнева. – Да как у вас язык за такие слова не отсохнет!

– Блудница вавилонская! – гремела та, которую называли тетенькой. – Быть вам с Бахтияром битыми на конюшне!

– В самом деле? – сквозь слезы во втором голосе прорвался смешок. – Неужто и он получит наконец-то по заслугам, сей блядословец <sup>14</sup>?

Услышав имя Бахтияра, князь Федор стал слушать еще внимательнее: тот самый черкес, о коего он позавчера так славно почесал кулаки!

– Ах ты, тварь неблагодарная! – вновь вызверилась тетень-

---

<sup>14</sup> Лжец, пустослов (*старин.*).

ка. — Ведь кабы не он, подумай, что было бы с тобою?! А прознай батюшка? А государь? Да в монастырь на вечное векованье — вот тебе самая малая кара была бы! Статное ли дело — ночью в саду любовнику назначать свидание! А ну, говори, кто таков был с тобой, от кого Бахтияр тебя отбил?

— Бахтияр? — засмеялась девушка. — Да спасибо тому неизвестному, кто меня отбил от Бахтияра!

— Неизвестному? — словно не услышав остального, взревела тетушка. — Так ты и имени его не знаешь, хотя валялась с ним, бесстыжая?! Ну вот же тебе, вот!

Две хлесткие пощечины раздались в тишине, а вслед за тем послышался крик, исполненный такой боли и отчаяния, что князь Федор не выдержал — и распахнул дверь, не зная, что будет делать, всем существом своим желая одного — прекратить сцену, терзающую его сердце.

\* \* \*

Он уже сообразил, что происходит расправа с той самой длинноногой девкою, которая позавчера его милостями была избавлена от докучливого черкеса, и ежели его что озадачивало, так наличие у нее какой-то тетушки (хотя почему бы и нет?) и то, что творится сие не в людской, не в девичьей, не в холодной, не в сенях, в конце концов, а в одной из нарядных хозяйских комнат. И он был немало изумлен, ворвавшись туда, ибо девки той не обнаружил (хотя недавно



слышал ее голос), а увидел... увидел то, что увидел.

Горбунья в сверкающем златотканом платье (верно, та самая Варвара, которую немало лаял дядюшка) стояла, занеся чрезмерно длинную при ее росте руку для новой пощечины, хотя от двух первых-то уже полымем пылали щеки у высокой, тонкой, весьма богато одетой девицы, которую крепко держал за локти черноглазый, мрачный и бледный, в черном шелковом бешмете...

Тот самый черкес! Его-то князь Федор признал с одного взгляда, испытав невыразимый восторг при виде трех немалых синяков, испятнавших это раздражающе-красивое лицо, и в лепешку вспухших губ.

– Осмелюсь ли осведомиться, что здесь происходит?!

– А ты что за спрос? – более чем неприветливо покосилась на него горбунья, все еще помахивая в воздухе своей цыплячьей лапкой, которая, верно, так и чесалась – нанести новый удар. – Звали тебя? Чего приперся?

Князь Федор на миг даже опешил.

Каких бы высот эта новая «убей-буф-мерина» ни достигла в одночасье, все же надобно быть уверенной в полной своей безнаказанности, чтобы так говорить не с крепостным, а с человеком, вполне равным тебе хотя бы по виду! Он бы дорого заплатил сейчас, чтобы взять ее за шкуру да за юбку и вышвырнуть в окошко, однако ж она была какая-никакая, а все-таки женщина, так что князь решил отвести душеньку на более достойном противнике.

Он сделал шаг к Бахтияру. Тот попятился, однако Федор оказался проворнее и, выбросив руку вперед, схватил черкеса за черную прядь у виска с такой внезапностью и силой, что Бахтияр взвыл, воздел от боли руки – ну и, понятно, выпустил свою пленницу, которая тотчас метнулась в сторону, бросив на спасителя исполненный стыда и муки взгляд... и в это мгновение он узнал эти глаза, уже смотревшие на него однажды с таким же выражением.

Это была она! Эта красавица с темно-русой, прелестно причесанной, чуть-чуть припудренной головкой, в жемчужно-сером платье с кружевными вставками, каждая из которых, на опытный взгляд Федора, стоила в Париже целое состояние, с баснословными жемчугами на шее... Это была та самая «крепостная», которую князь столь замечательным образом вырвал из лап женонеистового черкеса! Та самая, тронувшая сердце Федора своей беспомощностью и нежной красотой!

От неожиданности князь Федор разжал пальцы и выпустил свою глухо стонущую жертву, однако черкес не воспользовался его оплошностью – отпрянул, заслоня ладонями избитое лицо, и князь понял, что не ошибся в прошлый раз: кавказец не в меру жесток, но и труслив не в меру! А в глазах его... в глазах-то сколько ужаса, отравленного ненавистью! Нет сомнения, и он признал Федора – может быть, даже не глазами, не памятью, а синяками своими, болью да унижением беспощадно битого труса.

Князь Федор закрепил победу грозным взором, но тут Варвара Михайловна, подбочась, стала перед ним, загородив собою съезжившегося черкеса, и даже если бы Федор не был осведомлен о прозрачных тайнах их отношений, все ему сделалось бы ясно теперь, а потому где-то в глубине души он на миг пожалел эту стойкую и независимую барыню, которую злое провиденье вынудило покупать ласки ничтожества. Впрочем, сочувствие Варвара Михайловна вызвала у князя Федора только на одну малую минуточку, ибо, хотя она еще не промолвила ни слова, было заметно, что в душе у нее собирается чудовищный ураган, который не замедлит разразиться.

В привычках Федора было от опасности не бежать, а бросаться ей навстречу – так же он поступил и сейчас. А потом, как известно всякому фехтовальщику, нападение – лучший способ защиты!

– Осмелюсь ли сказать, сударыня, что вы осведомлены о случившемся не просто неверно – преступно неверно? – сделал он пробный выпад и почувствовал, как шпага противника дрогнула. – Признаюсь в невольной своей провинности, – поиграл князь Федор острием оружия, – несколько времени назад, проходя по коридору, сделался я свидетелем разговора, к коему имею, оказывается, самое непосредственное касательство. Позвольте вам сказать, что раб ваш, – он не глядя ткнул пальцем в сторону Бахтияра, – дерзок и лжив не в меру и заслуживает лишь быть брошенным псам на съедение!

Он мерзко оболгал сию достойную особу, – легкий, но почтительный поклон в сторону той, которая стояла, будто и не дыша, сжав руки у горла и не сводя с Федора своих огромных глаз, в которые он боялся взглянуть – сердце заходило! – Особу, вся вина коей состояла, по моему разумению, в том, что она неосторожно вышла в сад, не подумавши, что может сделаться жертвой негодая.

– Не вашей ли? – не замедлила кольнуть Варвара Михайловна, и князь Федор, озлясь на себя за беспечность, рубанул наотмашь, без всяких обманных финтов и изысканных батманов:

– Не моей, а этого выродка черномазого, который на девушку сию напал самым бесстыдным образом и дело свое гнусное непременно свершил бы, когда б я не вмешался!

– Вы?! – чуть слышно прошелестела красавица, но чуткое ухо Федора расслышало в том тишайшем шепоте истинный крик стыда, и восторга, и признательности.

– Вы, стало быть? – прошипела Варвара Михайловна. – А вы какого же черта в чужом саду шлялись? Да знаете ли, в чьи владения забрести осмелились?!

– Знаю, как не знать! Светлейшего князя Александра Данилыча Меншикова! Однако не по злой воле я там оказался, а упал с коня, пошел ловить его да заблудился.

– Одежда! Одежда его! – зашипел Бахтияр сквозь стиснутые зубы, и Федор пожалел, что не вышиб их все.

– Был я, конечно, грязен да ободран, ибо упал в какую-то

мочажину, а потом ветки меня беспощадно рвали, однако вы только поглядите на сего злоделателя – и убедитесь, что он признал того, кто его третьеводни отмутузил нещадно.

– Вы забылись, сударь! – возопила Варвара Михайловна. – Наглости вашей меры нет! Избили моего человека, напугали племянницу! Да как ей в глаза теперь людям глядеть, коли из-за нее незнакомый человек со слугою бился... позор для чести девичьей!

– А людям об сем знать не обязательно, – мягко улыбнулся князь Федор, едва удерживаясь, чтобы не расхохотаться от счастья. Волна пьянящего восторга поднималась в душе, туманила голову. – Велите этой образине помалкивать, а не то язык ему вырвать можно для надежности. Что же касается меня, даю вам слово чести: сия история будет в сердце моем навеки похоронена. – Он приложил руку к груди, а потом... потом сказал нечто вовсе неожиданное даже и для себя, но лишь когда выговорился, понял, что эти слова взошли на его уста из самого сердца: – А коли вы, сударыня, за крепость слова моего опасаетесь, то вот вам средство уста мои сковать: отдайте мне в жены сию отважную и достойную девицу – да и дело с концом!

– Ах! – враз звонко сказали Варвара Михайловна, Бахтияр и та, к коей князь Федор только что присватался, а ему послышалось, что это со звоном, у самой гарды <sup>15</sup>, сломалось оружие Варвары Михайловны. Но не на нее глядел он сей-

---

<sup>15</sup> Рукоять, чашка шпаги или рапиры.

час – на ту, прекрасную, незнакомую. Ее лицо – о, это было удивительно! – засияло мгновенной счастливой улыбкою, руки затрепетали, словно она хотела протянуть их к молодому князю, да вдруг тень упала на этот чудный лик, девушка отвернулась, уткнулась в ладони.

Мгновенный острый укол беспокойства должен был заставить Федора насторожиться... но нет, его несла, влекла, кружила все та же волна непонятного, необъяснимого счастья, и он сказал, торжествуя поглядывая на остоленелую горбунью:

– А ежели непросто вам принять сватовство от незнакомо-го человека, то позволю представиться сам, ибо теперь более некому: имя мое князь Федор Долгоруков, я только недавно воротился из Парижа, куда был десять лет назад послан покойным государем и светлейшим князем. По воле приемного отца моего, Алексея Григорьевича Долгорукова, и по зову признательности я нынче явился выразить почтение князю Александру Данилычу... однако богу было угодно, чтоб здесь решилась судьба моя!

И, закончив сию тираду, Федор склонился перед Варварой Михайловной, впервые обеспокоясь ее затянувшимся молчанием и каменной неподвижностью лица – кроме глаз, которые так и вцепились в сего внезапного жениха, так и шныряли по его лицу, фигуре, одежде.

Князь Федор был скромен, однако в пору жизни своей в Париже не раз мог убедиться, что природа не поскупившись

одарила его более чем приятной внешностью, а некоторые дамы даже находили его неотразимым. И сейчас, подвергнутый этому въедливому осмотру, когда глаза Варвары Михайловны, чудилось, выворачивают наизнанку каждый шов его камзола, он порадовался, что этот камзол из дорогого лионского шелка глубокого синего цвета, что полы изящно расшиты серебром, что рубашка на нем самого тончайшего и белейшего батиста, а при виде его кружевного жабо многие парижские модники готовы были бы удавиться от зависти. Серебристо-белые кюлоты, чулки, новые башмаки с золочеными пряжками – все было безукоризненным, как, впрочем, и его светло-русые, на прямой пробор причесанные волосы, которые и без пудры имели необычный пепельный отлив, ко-ему завидовали даже женщины. И потому князь Федор был вполне согласен со словами Варвары Михайловны, которые она наконец-то выдала:

– Что же... завидный жених, слов нет!

Но холодок пробрал князя – так бывает с бойцом, который обезоружил противника и уже торжествует победу, да пропустил обманное движение – и похолодел, внезапно увидев в руках врага кинжал, извлеченный из потайного кармана. И уже нет времени отпрянуть: коварное оружие нацелено прямо в сердце!

– Родич, значит, Алексея Григорыча... Горяч, горяч, ну весь в дядюшку! Посватался бог весть к кому, не спрося ни имени невесты, ни звания. А коли девка неровня тебе? Или

ты – ей неровня? А то не дай бог она уже и просватана?

Князь Федор резко выпрямился – и Варвара Михайловна с видимым наслаждением нанесла удар в самое сердце:

– Похвально, сударь, что вы во всех обстоятельствах своей жизни стремитесь быть рыцарем чести, однако благие пороки ваши можно расценить как преступление! Извиняет вас лишь то, что вы слишком долго вдали от дома пробыли и о последних новостях едва ли осведомлены. Знаете ли, кого вы посмели оскорбить своими домогательствами? Ее императорское высочество государеву невесту Марию Александровну!

Князь Федор невольно вскинул подбородок – только так можно было удержать себя на ногах, не рухнуть... хотя, наверное, этого от него и ждали. Все как бы закружилось вокруг, понеслось стремительно вверх, и такая тишина воцарилась, такая гробовая тишина, что громом почудился веселый голос внезапно вошедшего человека:

– Федька! Да неужто ты! Не верю очам – дай поверю рукам!

И Александр Данилыч Меншиков крепкой, дружеской, ласковой хваткой выдернул незадачливого жениха из-под земли, сквозь которую он уже почти провалился.



## 6. Кокетка

И как всегда, как и всем прочим, при встрече с Александром Данилычем, почудилось Федору, будто он – тряпичная кукла, которой так и сяк забавляются опытные руки, перебрасывая ее с места на место, заставляя принимать нелепейшие позы, бессмысленно кивать направо и налево, разевать раскрашенный рот, и даже собственный голос чудился сейчас князю Федору чужим, неестественным, словно принадлежал не ему, а все тому же кукловоду-чревовещателю. А вокруг весело кружились такие же тряпичные куклы, только что прибывшие с царской охоты...

Федор был незамедлительно представлен высокому неуклюжему мальчику с возбужденными глазами – государю, который был весьма, весьма приветлив, узнав, что перед ним – двоюродный брат Ивана Долгорукова, и даже трижды поцеловал нового знакомого – по своему обычаю, в губы. Князь Федор потом едва дождался случая утереться, поскольку было мало сказать брезглив – навидался при французском дворе, к чему ведут такие-то дружеские поцелуи! Впрочем, молодого царя трудно было заподозрить в чем-то непристойном: уж слишком жарко заглядывался он на женщин.

Иван же Долгоруков встретил двоюродного брата с великой радостью и тотчас отрекомендовал его двум дамам, стоявшим обочь Петра, причем трудно было отыскать два более

разных создания, чем они, и дело было вовсе не в пятилетней разнице по возрасту, тем паче что Наталья Алексеевна, сестра царя, высокая, плотная, очень некрасивая, выглядела гораздо старше своих лет. Все ее существо излучало достоинство, ум, важность, и даже когда она забывалась и начинала болтать, хохотать, как все, а пуще – забавно гримасничать, мастерски подражая и передразнивая остальных, это чудилось не проявлением искреннего веселья, а откровенной издевкой над окружающими, принужденными хохотать, даже если они чувствовали себя оскорбленными.

Другая – рыжая, яркая – была совсем иная, и князь Федор подумал, что она очень к месту пришлась бы в суматошных, веселых распутствах Версаля, Лувра, Фонтенбло: куда более к месту, чем застенчивая Мария Лещинска! В глубине ее ярких глаз гнездилось манящее, повелительное лукавство, словно в каждом мужчине она видела прежде всего поклонника, может быть, даже любовника... Разбитная цесаревна, юная тетушка юного государя, Елизавета Петровна, мастерски соблазняла всех подряд: словечко, улыбка, взгляд, пожатие сдобными плечиками – и всякий готов быть у ее ног! Впрочем, чаще всего ее очи обращались, конечно, к Петру, и тогда примечательный взор мог бы прочесть весьма откровенное выражение ее глаз: «Государь молод, робок, неловок, не имеет жизненного опыта. Мой долг помочь ему стать мужчиной и царем». И по лицу мальчика видно было, что такое будущее казалось ему великолепным искушением.

Вообще говоря, князь Федор был поражен, насколько откровенно все здесь выказывали свои чувства! А может быть, это смятенное сердце вдруг наделило его такой острой проницательностью, что он мог читать по лицам, словно по неосторожно раскрытым книгам?

Молодой князь видел, как менялось лицо Петра, когда он поглядывал на свою прекрасную невесту. Он желал, чтобы Мария кружилась вокруг, подобно Елизавете, заигрывала, опутывала его златыми сетями кокетства, но для Марии он был только избалованный мальчишка, безмерный дерзец, в полную власть к которому она скоро попадет. Федор украдкой обращал взоры к этому пленительному лицу, и сердце его исторгало тайные вздохи. Как Мария была понятна ему, как открыта – что-то поразительное! Он видел, что она из тех женщин, которые только выжидают внимания, никогда не стараясь и не умея его разбудить. Да и зачем ей это, если несказанная красота и без того обращала к ней все взоры. Федор замечал, что во взглядах Марии, устремленных на Петра и Елизавету, нет ревности: в них было только опасение, что при муже, который ее не любит, ее жизнь сведется к роли наседки, высиживающей детей, в то время как он будет развлекаться с другими. Да уж, и ей нельзя было отказать в проницательности! Но тосковал ее взор пуще всего оттого, что в сердце своем она не находила ни малой искорки любви! Князь Федор заметил также, что Мария изо всех сил старается не глядеть на него, и такое разобрало его уныние!..

Что бы он ни делал сегодня, с кем бы ни говорил, кому бы ни улыбался – во всем была она и мысли о ней. Как ни гнал от себя князь Федор смутную, глухую тоску, снова и снова сосала его сердце ревность к глупому мальчишке, коему невзначай досталось истинное сокровище, с которым он не знает, что делать, которое он даже оценить не способен, ибо предпочитает разноцветные стекляшки безупречной красоте бриллианта. Отчасти поэтому Федор не беспокоился, что будет, если до царя вдруг дойдет весть, будто молодой Долгоруков по незнанию присватался к его невесте. Варвара Михайловна была не столь глупа, чтобы его выдать: ведь это могло потянуть за собой целую цепочку разоблачений, опорочить Марию в глазах царя, а значит, принести Варваре Михайловне вреда несравнимо больше, чем радость от утоления злобы на весь мир вообще и каждого человека в частности. Единственное, что его всерьез терзало: почему Мария оказалась во власти неистового черкеса? И мысли не мог он допустить о взаимной меж ними склонности: мир покрывался черной пеленой, стоило вообразить, что Бахтияр – счастливый обладатель любви Марии, хотя его неприкрытая страсть явствовалась в каждом взгляде, движении – даже в ненависти, даже в грубости, именно оттого, не мог не видеть Федор, и ярилась горбунья, что распознала эту страсть своего наемного любовника к другой – юной, прелестной, милой.

Однако никто и заподозрить не мог, какая тяжесть лежит на сердце князя Федора, какие мрачные думы его терзают.

Ведь он был не мальчик, не мужик неотесанный, позволяющий всякому случайному чувству одержать над собой верх, а потому он держался стойко и был вкрадчив, как придворный, ловок, как мушкетер, обходителен, как сводник, и выказал столько ума, обаяния и дерзости, что с куда большей легкостью, нежели надеялся, очаровал всю веселую компанию и сделался в ней своим человеком — к великому удовольствию Александра Данилыча, который, хоть и недолюбливал вообще Долгоруковых, к Федору был расположен, не забыв благосклонности к нему великого государя и считая молодого князя чуть ли не их общим крестником. Но Федор, все с той же опасной проницательностью, видел, как изменился некогда острый, хитрый, умный, приметливый Меншиков. Теперь он подмечал только внешнюю сторону событий, только ею интересовался, только ею управлял, ну а что кипело, томилось в сердцах окружающих, его интересовало очень мало. И это насторожило князя Федора... насторожило не потому, что он обеспокоился за Меншикова — нет: Меншиков был отцом Марии, а значит, все, что было бы плохо для него, могло нанести вред ей... и это почему-то было для князя Федора нестерпимо. Нестерпимо и непереносимо!

\* \* \*

Как «надсмотрщиком» компании был Меншиков, так заводиолю, конечно, Елизавета Петровна. Ей нравилось, когда

ее называли на старинный манер – Елисавет, и сие помпезное имя в применении к ней почему-то приобретало изощренно-кокетливый характер – как, впрочем, вообще все, что имело до нее отношение. Чудилось, какой-то живчик сидит и играет в ней. Она и минуты не могла оставаться спокойною! Даже после чрезмерно обильного обеда, когда и по обычаю, и по телесной потребности надлежало разойтись по уединенным pokojам и сладко вздремнуть, она затеяла танцы! Но буйная охота и велеядие <sup>16</sup> сморили даже неутомимых Петра и его наперсника Ивана Долгорукова, что же говорить об остальных? Танцы решили перенести на вечер, когда собрание отдохнет, а послеполуденный зной несколько спадет. Елисавет откровенно надулась и заявила, что пойдет в сад дышать воздухом. К общему облегчению, она уже направилась прочь из столовой, но в дверях обернулась и с очаровательной улыбкою велела князю Федору ее сопровождать. И хотя Петра так и передернуло от нескрываемой ревности (что было всеми замечено), молодому князю ничего не оставалось делать, как подчиниться приказу дамы, и, даже не успев на прощанье еще раз взглянуть в прекрасные темно-серые глаза, которые бежали его настойчивых взоров, он последовал за неугомной прелестницей, а она уже неслась по лестнице со всех ног, по своему обыкновению высоко задирая юбки.

---

<sup>16</sup> Чревоугодие, обжорство (*старин.*).

Впрочем, прыти Елисавет хватило ненадолго: едва забежав в душистые черемуховые заросли с другой стороны дома, она стала, обернувшись к князю Федору и, часто дыша, оживленно спросила:

– Вы рады, что мы наконец-то вдвоем?

Усилием воли Федор удержал изумленно взлетающие брови и дипломатично ответил:

– Государь был недоволен.

– Бедняжка втюрился порядочно в меня! – блестя глазами, небрежно засмеялась Елисавет. – Конечно, можно понять, когда у него эта фарфоровая кукла в невестах!

Князь Федор даже не предполагал, что сможет ощущать такую ненависть к молодой и красивой женщине...

– Когда б я пожелала, государь давно был бы мой. И это было бы всем на пользу. Он так добр, так доверчив, что более других нуждается в руководстве умной женщины, да он и сам сознает. Правда, он дитя еще, но задатки в нем обещающие. Вчерась я сказала ему, что он не умеет целовать ручку так, чтобы дама трепетала от прикосновения его губ. Он был задет за живое и ответил, что если бы взялся всерьез ухаживать, то всех дам выучил такому, что они пожалели бы, что разбудили спящего льва! Да, мы подошли бы друг другу в супружестве... – Она облизнулась, как кошечка. – Что же, что мы родня – сие разрешилось бы Синодом в один миг! Да и многие, сколь известно, желали бы нашего брака, но Данилыч всех обскакал со своей Машкой, подсунул ее Петру

Алексеевичу!

– Мария Александровна достаточно хороша, чтобы ей поклонялись, независимо от всего влияния ее бабушки! – сказал Федор, нарочно нагнувшись за цветком, чтобы тирада его прозвучала не с той пылкостью, которую он вложил в нее.

– Ну уж и хороша! – пренебрежительно фыркнула Елисавет. – Нашли тоже...

Князь Федор яростно рванул цветочный лепесток, и это мгновенно отвлекло красотку:

– Что вы делаете с бедным цветочком, князь?

Федор, овладев собою, взглянул на ни в чем не повинный цветок. То была белая маргаритка, и он не замедлил выкрутиться:

– Я гадаю. Разве вы не знаете, выше высочество: русские девицы и молодцы гадают на ромашке, а французы – на маргаритке. – И он принялся обрывать лепестки один за другим, бормоча: – *Un peu... avec passion... a la amoureux...* <sup>17</sup>

Елисавет, как зачарованная, следила за его пальцами, шепча в лад:

– Любит – не любит, плюнет – поцелует, к сердцу прижмет – к черту пошлет, своей назовет...

Лепестки кончились.

– *Avec passion* <sup>18</sup>, – успел сказать князь Федор.

– К сердцу прижмет, – лукаво прошептала Елисавет, не

---

<sup>17</sup> Немножко... страстно... влюблен (*фр.*).

<sup>18</sup> Страстно (*фр.*).



сводя с него своих искристых очей.

Мгновение царило молчание, потом князь Федор в замешательстве кашлянул, а Елисавет усмехнулась – и вдруг резко села на траву, раскинула юбки, выставила ножки, туго обтянутые зелеными чулочками:

– Ох я и напрыгалась! Устала! А взгляните, князь, на мои чулочки и скажите, что вы о них думаете?

– Они... на диво зеленые, – не покривив душою, изрек князь.

– Экий вы бука! А ведь только что из Парижа! Зеленые! Что, очень я отстала от моды? Какие теперь чулки носят при дворе?

– Совершенно такие, – поспешил заверить ее князь Федор, мучительно стараясь припомнить, какого цвета чулки были у его последней любовницы. Дама была модница, да... но, поскольку встречаться им удавалось лишь по ночам, в садовой беседке, у него не было ни возможности, ни желания разглядывать ее чулки.

– А подвязки? – не унималась Елисавет, еще выше оголяя точеную ножку. И впрямь жалко было прятать такое совершенство под множеством длинных юбок!

Князь Федор сказал довольно громко:

– Право, какой жаркий нынче день!

Вдруг громкое мяуканье раздалось рядом – злое, воинственное, с подвывом.

Елисавет невольным движением обрушила юбки на коле-

ни:

– Брысь! Брысь, проклятые!

– Брысь! – подхватил князь Федор. – А ну, пошла отсюда! – И, поскольку кошка не унималась, он счел нужным забежать в кусты. Некоторое время раздавались его «брыськанье» и кошачье сердитое шипенье, затем все стихло, и князь Федор выбрался на полянку, где застал Елисавет уже не сидящей в прельстительной позе – она лежала навзничь, и рыжие волосы ее сплетались с травой.

– Вы простудитесь, сударыня! – изрек Федор, с усилием вынуждая себя говорить хотя бы с малой толикой волнения.

– О, земля уже теплая! – беззаботно отозвалась Елисавет, нежно поглядывая снизу. – Да вы присядьте, сударь, вот здесь, рядышком – сами убедитесь. – И она властно похлопала по траве рядом с собой.

Можно было бы, конечно, сослаться на белые кюлоты, которые он боится запачкать, но не хотелось выставить себя полным дураком, поэтому он все же опустился на корточки ввиду прелестных сливочно-белых холмов, выпирающих из дерзкого выреза платья.

– А каковы носят парижские дамы декольте? – любопытствовала Елисавет. – Я слышала, что теперь не модно открывать грудь слишком уж глубоко.

– Сие зависит не от моды, а от красоты самой груди, – сказал Федор довольно сухо, но тут же сгладил впечатление от своего равнодушия: – Вы, сударыня, можете позволить себе

вырез какой угодно глубины... («Хоть до пупа!» – это грубоватое замечание он все же поймал на кончике языка.)

– Правда? – обрадовалась Елисавет. – Да, у меня красивая грудь, я знаю! И она тугая, хотя кожа очень нежная. Да вы попробуйте, потрогайте! – И, так внезапно схватив Федора за руку, что он чуть не повалился на кокетку, она потянула его ладонь к себе, явно намереваясь возложить на трепещущие полушария.

С усилием восстановив равновесие, он, однако, ухитрился замедлить сие движение и, встретив ошеломленный взор Елисавет, пояснил:

– Легендарная красавица Диана де Пуатье уверяла, будто мужская рука вредна для нежной кожи тех, чья грудь красиво вздымается... При солнечном свете, сударыня!

– Что-то ни разу не замечала, чтоб у меня ухудшилась кожа! – запальчиво воскликнула Елисавет и осеклась, хотя Федор вполне мог продолжить ее мысль: «Хотя мужские руки касались ее весьма многожды!»

Он немало слышал о похождениях этой веселой царевны, которую уже называли «русской Марго», ибо она, подобно великолепной Маргарите Наваррской, очень бурно начинала свою юность. Князь Федор вовсе не был ханжой – свобода обхождения нравилась ему куда больше, чем теремные российские нравы, однако дотронуться до соблазнительной Елисавет он не отваживался. И дело здесь было не только в неминуемом гневе молодого государя, явно увлеченного сво-

ей распутной тетушкой: все можно было бы устроить шито-крыто. Просто не нравилась князю Елисавет – не нравилась, и все тут! Ни душа, ни плоть его не волновались при виде сей доступной прелести. Окажись на ее месте любая другая... да нет, в том-то и загвоздка, что не любая. Просто – другая... Словом, опять складывалась ситуация пренеловкая, как и давеча, когда решался вопрос о цвете чулок, поэтому истошный собачий брех, раздавшийся совсем рядом, был воспринят князем Федором с немалым одушевлением.

Опять последовала пробежка по кустам, грозные крики: «А ну пошел! Вон отсюда!», потом жалобное твяканье, которое стремительно удалялось, пока не стихло совсем... и Федор вздохнул с облегчением, когда, воротясь на полянку увенчанным новой победою, застал Елисавет не лежащей, а вновь сидящей, со скромно расположенными волнами юбок, вполне прикрывающими ножки. Но стоило ей заговорить, как Федор понял, что его испытания еще не закончились.

– А что вам больше всего... – таинственно начала Елисавет, внимательно разглядывая, как бы это поизящнее выразиться, покрой кюлот князя Федора. Казалось, ее особенно беспокоит, не тесны ли они в шагу. – А что вам больше всего понравилось в Париже? Что порадовало? Говорят, там теперь в моде... кое-что итальянское? – вновь пошла на штурм Елисавет, глядя на Федора снизу вверх с детски невинным выражением.

Он скрипнул зубами. Кое-что итальянское? Любопытно,

что она имеет в виду... Ну, погоди!

– Больше всего меня порадовало, что я попал в Париж через полтора столетия после того, как Екатерина Медичи вводила в бой свой «летучий эскадрон», – сердито проговорил князь. – Юные и грациозные девицы прыгали в постель ко всем иностранным дипломатам, так что ничего не стоило внезапно обнаружить у себя красотку в постели... или где угодно, сударыня.

Увы, его рассчитанную грубость Елисавет, по-видимому, пропустила мимо ушей: глаза ее вспыхнули еще более игриво.

– Да! – воскликнула она восторженно. – Я слышала, что эти дамы для прельщения любовников пользовались специальными притирками, которые способствовали росту волос в сокровенном месте до такой длины, чтобы можно было их завивать и подкручивать подобно усам! Это правда?

«Многая помощь бесам в женских клюках!» – угрюмо подумал князь Федор и с тоской покачал головою:

– Не ведаю, ваше высочество. Не привелось, увы, доселе зреть такого чуда.

– А хотите? – возбужденно взвизгнула Елисавет. – Хотите поглядеть? Ну так вот!

И, вновь хлопнувшись навзничь, она медленно повлекла вверх свои многострадальные юбки, открывая взору оторопевшего князя отнюдь не зеленые чулочки, а вовсе голые ножки (и когда только успела разуться шалунья?!), и тянула

одежду все выше, так что открылись уже и соблазнительные колени в ямочках, и пухленькие ляжки, и...

Тут уж князь Федор с собою не совладал: ничуть не сомневаясь, что Елисавет и впрямь предъявит ему что-нибудь вроде локона или даже косички на неприличном месте, он запаниковал и, нескромно вцепившись в царевнины юбки, с такой силой рванул их, пытаясь прикрыть не в меру разошедшуюся обольстительницу, что Елисавет, вскрикнув, принуждена была сесть, как тряпичная кукла.

Вдруг вверху послышался какой-то стук, будто резко хлопнулось окно. Князь Федор и Елисавет испуганно задрали головы – и тут случилось нечто, вмиг отвратившее их мысли от милых шалостей.

Кусты вокруг – те самые, что были поочередно местом схватки князя Федора с кошками и собаками, – угрожающе затрещали, и из них вывалился на полянку мужик в длиннющем армяке с видом грозным и перепуганным одновременно. В руках он сжимал какой-то узел. Увидав молодых людей, мужик зауросил, перебирая на месте ногами, метнулся туда-сюда, а потом, круто развернувшись, задал такого стрекача, что треск пошел по рощице, и белый снегопад черемухового цвета усеял все вокруг.

– Держи вора! – вскричал князь Федор, ибо кем еще мог быть этот таинственный беглец, как не вором! – Держи! Лови! – И привычно исчез в кустах...

Однако, в отличие от прошлых раз, он не воротился на по-

лянку, очевидно, не в меру увлекшись преследованием злодея, который на ходу сбросил уродливый армяк и остался в скромном, но приличном камзоле. Этот камзол был вполне знаком князю Федору, как, впрочем, и его обладатель: «вором» (да и псом, и котом, если на то пошло!) был не кто иной, как княжеский слуга Савка, давно приученный выручать своего разборчивого хозяина из двусмысленных ситуаций...

До Елисавет еще какое-то время доносились азартные крики князя, потом они стихли вдали. Она сидела, сидела... Федор не возвращался. Разочарованно вздохнув, она натянула чулки и подвязки, обулась – нет, никого. Нехотя встала, поправила юбки. За жесткое кружево зацепилась маргаритка. Елисавет невольно принялась ощипывать лепестки. Но французское гадание она забыла, поэтому взволнованно бормотала по-русски:

– Любит – не любит... плюнет – поцелует... – Она тяжело вздохнула: цветочек был слишком мал! – К сердцу прижмет...

«К черту пошлет», – подсказал последний лепесток, и Елисавет сердито отшвырнула облысевший цветок. Вот уж правда что!

## 7. Увлекательный разговор о химии

– Ну что, нагляделся, надо полагать? – усмехнулся Василий Лукич, увидав утомленную физиономию молодого князя. – Провел свою рекогносцировку?

– Да уж... – неопределенно протянул тот.

– Видел свою-то? Ну, девицу-красавицу? Все таково же хороша?

– Хороша, – угрюмо согласился князь.

– Приценился? Купил? – не унимался Василий Лукич, пытаясь понять, что же сделалось «во вражьем стане» со вчерашним весельчаком.

Воспоминание о своих ошибках насчет Марии причинило Федору боль, сходную с зубной. Его даже перекосило.

– Не продается, увы!

– Велика беда! – хмыкнул Алексей Григорьич, которому не терпелось перейти к делу. – Самого-то видел?

– Видел, как не видеть...

– И что? Что скажешь? – так и подался к нему Алексей Григорьич.

Князь Федор помолчал, чувствуя себя школяром на экзамене, к которому он не приготовился. Черт ли его тянул за язык при прошлом разговоре! Расхвастался, пошел в разведку! Вот теперь дядюшки и ждут от него бог весть каких откровений. А что будет, если он отмолчится? Да ничего та-



кого уж страшного. Не высекут ведь его розгами, как того школяра! Ну, вытянется разочарованно хитрая физиономия Василия Лукича; ну, алчный огонек в глазах Алексея Григорыча сменится презрением. А за что, собственно? Как будто они и сами не знают, что Меншиков Александр Данилыч – крепкий орешек, не всякому-каждому по зубам, и неудивительно, что молодец, поначалу о себе возомнивший, обломал о светлейшего свои острые зубки с первого же разу! Может быть, уклончивость князя Федора – бальзам на их раны: мол, ежели мы не нашли, как светлейшему хребет сломать, так и никому не найти. А ведь это далеко не так. Не так! Сей упомянутый хребет не столь уж твердокамен, и князю Федору с одного взгляда сделалось видимо уязвимое место глухой обороны Меншикова. Что же сейчас сковывает его уста? Что заставляет молчать и отводить глаза, избегать пристальных взоров дядюшек?

Ничего. Ничего иного, кроме воспоминаний о прекрасных темно-серых глазах, и трепете губ, и русой волне над высоким лбом... Да что ему в тех видениях, которые в сладкой муке сжимают сердце и ведут к одной лишь бессоннице?!

– Следовательно, время было потрачено напрасно, – задумчиво резюмировал Василий Лукич, проницательно глядя на молодого князя... и с трудом подавил улыбку, увидав, как тот вдруг норовисто вскинул голову. Стало быть, он не ошибся в мальчишке! И хоть Федор пока молчит, набивая себе цену, все равно скажет, чего он там выходил, у Данилы-

ча-то!

А в это время в душе Федора в новой схватке сцепились остатки честности, осторожности, с одной стороны, и безрассудной жажды обладания – с другой.

Средь сонма женщин, прошедших сквозь его объятия, познавших вкус его поцелуев, не возникло ни одной, которая бы так смутила его, заставила трепетать. Почти с ужасом он понимал, что их просто не было в его жизни, всех этих женщин, – были только отчаянные поиски вслепую... кого? Он не знал прежде. Теперь знает, ибо нашел. Все в душе его, в существе его было тронуту, все смущено, все растерянно. Одиночество и тоска, которые он вдруг стал испытывать среди людей, были подобны внезапной хвори, и только одно существовало тут лекарство: снова видеть ее, говорить с нею, мечтать о ней. Если бы в том состоянии, в каком он пребывал, ему повстречался ангел, то обратил бы его к богу; дьявол увлек бы его к сатане. Но в том-то и дело, что он встретил их разом! О, если бы он не понимал, не видел явственно, что Мария ненавидит своего юного жениха, а тот ненавидит свою невесту! Ведь не будет счастья в сем союзе, все сложится по старинной русской пословице о женихе-недомерке да невесте-перестарке: «Она будет бить его первые семь лет, а он ее потом – всю жизнь!» Но тут еще хуже, еще хуже, ибо у юного Петра уже и сейчас в руках такая власть и сила, с какими справиться может и не всякий взрослый. Да хотя бы из государственных интересов слагался сей брак – нет, од-

ни только чаяния Данилыча он призван удовлетворить. Не все ли равно бедной России, кто сейчас прорвется к кормилу власти: Меншиков или Долгоруковы, ежели и теперь, и потом временщики при юном государе будут все тащить в свой карман? Страна живет сама по себе, а управители ее – сами по себе, так всегда было и будет в России. Разница сейчас одна: в жертву естественному ходу вещей, словно невинная дева – некоему неотступному сказочному чудовищу, принесена будет та, о которой всю жизнь, сам того не зная, грезил Федор, кого уже и не чаял встретить. Разве это по-божески: оставить ее страдать навеки... оставить себя страдать?

Он повел затуманенными глазами и едва не отшатнулся, увидев искаженные нетерпеливым любопытством лица своих дядюшек. Один из них – лисица и змея, другой – медведь и лев.

– Ну? Чего надумал? – прорычал Алексей Григорыч. – Говори, не томи.

Изо рта Василия Лукича на миг проглянуло лукавое жало – и скрылось.

– Рас-с-сказывай... – просвистел он.

– Все просто, – решительно сказал князь Федор, и дыхание его на миг перехватило, как если бы он бросился с обрыва в ледяную воду. – Все дело в невесте!

– Ну! – разочарованно махнул рукой Алексей Григорьич. – Тоже родил мысль! Понятно, что, подсуепись я и подсунь государю мою Катерину вместо Меншиковой Машки, я сейчас бы при власти ходил!

– Может, так оно и станется, – успокоил дядюшку князь, и не подозревая, что пророчествует. – Но покуда не будем о грядущем – поговорим о нынешнем. Французы говорят: «Не будь женщин, трон рухнул бы». Меншиков умен, как бес: у него нет никаких других средств держать государя в узде, кроме этого обручения. Хотя слепому видно: окажись у Петра возможность взять слово назад, он сделал бы это быстрее, чем мы успели бы моргнуть.

– Взять-то взял бы! – сердито сказал Алексей Григорьич. – Да разве этот волкодав Данилыч отдаст?! Его сейчас и полк солдат вдали от государя не удержит. Дорвался до пирога – не оттянешь!

– Существуют средства избавиться от неприятных людей, – доверительно сообщил князь Федор громоздкой парсуне<sup>19</sup>, висевшей как раз напротив него и обрамленной в такую богатую раму, что золотой блеск мешал разглядеть изображение.

---

<sup>19</sup> Портрету (*старин.*).

– Что ты предлагаешь? – спросил прямолинейный Алексей Григорыч. – Злую игру с Данилычем сыграть? Кистенем в темном углу навернуть? Так ведь он рано или поздно очуется и такой сыск учинит – не порадуешься! И не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понять, на кого его взор упадет с первой подозрительностью: на нас, на Долгоруковых!

– Знаете, что говорят о русских итальянцы? Их, то есть нас, называют медведями не потому, что грубы, а потому, что идут всегда напролом, – негромко сказал князь Федор и помолчал, оглядывая дядюшек.

Алексей Григорыч грозно сунулся было к нему, приняв сказанное на свой счет и осердясь, но Василий Лукич успел поймать его за рукав:

– Помолчи-ка, брат. Этак мы недалеко уйдем, ежели будем перечить да пререкаться. Скрепи себя, послушай. А ты, Федор, больно не умничай. Говори... и говори короче.

«Ну уж нет! – подумал князь Федор, бросив острый взгляд на дядюшку. – Если по вашей милости я в эту игру заиграл, то не прежде свои планы открою, чем вас вволю не пощечочу, почтенные!» И продолжал как ни в чем не бывало:

– Итак, итальянцы полагают, что мы, русские, излишне прямолинейны во всем, даже в преступлениях: мы вершим месть открыто, не таясь, и гибнем вслед за своим врагом, хотя могли бы пережить его и торжествовать после его смерти. Подобному убийству с оглаской, которое зачастую навлекает на убийцу смерть куда более страшную, чем та, которой

умер его враг, итальянцы, с улыбкой подающие смертельный яд, противопоставляют коварство.

Василий Лукич блеснул глазами, а Алексей Григорыч снова не сдержался:

– Вон ты о чем! Дело хорошее, да беда, ничего такого у нас в заводе нет <sup>20</sup>. К тому же, травить Данилыча – пустое дело. Он один не жрет, только с государем. И всякую пищу слуга пробует.

– Ох, дядюшка, знали бы вы, сколь хитры по сей части бывают люди! – мечтательно протянул Федор. – Существует яд настолько действенный, что даже испарения его смертельны. Во Франции я слышал историю об отравленном полотенце, которым во время игры в мяч вытирал лоб юный дофин, старший брат Карла VII, и соприкосновение с которым оказалось для него гибельным. Еще живо предание про перчатки Жанны д'Альбре, которыми ее отравила Екатерина Медичи. Я уж не говорю про знаменитый ключ и перстень Чезаре Борджа – это вещи общеизвестные.

По тому, как сладострастно блеснули вдруг глаза Василия Лукича, князь Федор понял, что он тоже слышал и о Борджа, и о Медичи, и о ядах вообще, так что следующую реплику надо ждать от него. И дядюшка не обманул его ожиданий.

– Ежели помрет наш генералиссимус в корчах и судорогах – пожалуй, не миновать и следствия, и вскрытия. Мы тут ведь тоже не все пню молимся, слышали, во Франции теперь

---

<sup>20</sup> Непривычно (*старин.*).

вовсю покойничков, страшной смертью умерших, пластают!

– Конечно, смерти бывают разные, – согласился князь Федор. – Но ведь и яды – тоже! Жил лет пятьдесят назад такой итальянец – Экили его имя. Это был незаурядный отравитель: по части ядов он являлся художником, подобно Медичи, Борджа и Козимо Руджиери <sup>21</sup>. Сей Экили, который совершал отравления не ради корысти, а следуя неодолимой страсти к экспериментаторству, изобрел весьма хитроумный яд. В живых организмах он скрывался так искусно и с такой хитростью, что совершенно невозможно было его распознать. У животного все органы оставались здоровы и невредимы: проникая в них как источник смерти, этот хитрый яд в то же время сохраняет в них видимые признаки жизни. Сие снадобье ускользает при любых осмотрах; оно настолько таинственно, что его невозможно распознать, столь неуловимо, что не поддается определению ни при каких ухищрениях, обладает такой проникающей способностью, что ускользает от прозорливости врачей; когда имеешь дело с этим ядом, опыт и знания бесполезны! Из него делают порошки и жидкости: одни действуют тайно и изнуряют медленно жертву, так что она умирает после долгих страданий. А другие столь сильны и мгновенны, что убивают, подобно молнии, не оставляя принявшему их времени даже вскрикнуть.

– Ай да племянник! – пробормотал Алексей Григорыч. –

---

<sup>21</sup> Придворный маг и химик Екатерины Медичи.

Ай да букарь! <sup>22</sup> Хвалю! Не зря по заграницам шастал!

Василий Лукич, по своему обыкновению, молчал. До него доходили слухи, что в Париже у князя Федора была репутация модника, соблазнителя, забияки – и в то же время человека с беспощадным, холодным умом, куда более острым и стремительным, чем его шпага. Похоже, что так... похоже, что так, и какая удача, что этот ум, это оружие наостроено на службу Долгоруковым, против их исконного врага!

Князь Федор тоже молчал, отдыхая после своей пламенной речи. Он был упоен химией, видя в ней не столько науку, сколько изысканное и высокое искусство, однако происшедшая сейчас сцена была занимательна для физиономиста куда более, чем для химика! Его дядюшки уже поизображали скорбь над телом внезапно умершего Меншикова, уже попиروвали на его поминках, уже начали делить звания и власть... уже стиснули в своих объятиях молодого императора, вынудили его отречься от прежних клятв и дать слово другой прелестнице. Не составляло труда угадать, кто будет новая невеста Петра, – конечно, красавица Екатерина Долгорукова! Все сбудется, как они хотят, даже как они и мечтать не смели – а доставит им это все на золотом блюде отважный грехотворец Федька, которого они сделают послушным игралищем своих разнузданных страстей! Всем он оказался вдруг с руки, этот Федька! Ну и, надо полагать, не посядутся для него наградою, о чем бы ни попросил. Он-то

---

<sup>22</sup> Грамотей, книжник (*старин.*).



знал, чего попросит – нет, потребует! – и только надежда давала сейчас силы продолжать игру.

Федор с трудом удерживал смех: по лицу Алексея Григорыча ясно было видно, что он прямо сейчас готов вручить племяннику бутылку с ядом, отравленный шарф, камзол, перчатки – бог весть что! – и отправить губить светлейшего. Однако хитрый Василий Лукич никак не мог перестать ходить вокруг да около:

– Экие чудеса ты тут наговорил! Все было бы прекрасно, окажись осуществимо. Но где взять сего яду?

Он заранее знал ответ, и Федор его не разочаровал:

– Я привез с собою малую толику. Удалось купить у одного аптекаря, который готовил его по старинному рецепту.

– И что же за рецепт? – вкрадчиво поинтересовался Василий Лукич, рассудив, видимо, что, ежели средство и впрямь окажется так хорошо, как говорит Федор, не помешает на всякий случай научиться и самому его изготавливать. Впрочем, следующие слова племянника напрочь отбили у него желание заняться химическими опытами:

– Яд сей имеет сладковатый вкус и называется кантареллой. Готовится он самым необычным способом. Кабана заставляют проглотить большую дозу мышьяка, затем, когда яд начинает действовать, животное подвешивают за ноги, и вскоре, когда тело его уже сотрясают конвульсии, а изо рта начнет течь ядовитая слюна, ее собирают в серебряное блюдо и наливают в герметично закупоренный флакон. Но

говоря же вам, дядюшка, у меня есть этот яд, вам трудиться не надобно!

— Ну и чего же ты задумал, Федька? — едва выговорил пересохшими от нетерпения губами Алексей Григорьич. — В одночасье Данилыча уморить или пускай помучается?

Понятно, какой ответ был бы желателен Долгорукову! Но князь Федор знал и другое: он не запятнает своих рук смертью отца той, к которой властно влекло его сердце. Он только чуть-чуть изменит череду событий, чуть-чуть подтолкнет судьбу. Никаких смертей! Только маленькая подножка его высококняжеской светлости, для которого всякая масть в козырях, даже судьба дочери, — остальное, можно не сомневаться, сделает молодой император!

Поэтому Федор не ответил Алексею Григорьичу; вопрос Василия Лукича показался ему куда интереснее:

— Коли ты так все порассудил, то, может, и знаешь, через что Данилыча отравы настигнет?

Федор медленно улыбнулся. Теперь ему казалось, что он предвидел ответ на этот вопрос еще вчера, когда во дворце Меншикова забрел в шахматную комнату! И он проговорил, глядя в невинные голубые старческие глаза Василия Лукича своими яркими, молодыми, но столь же голубыми и невинными:

— Надо полагать, господин генералиссимус по-прежнему играет в шахматы только белыми и грызет голову ферзя, когда задумается?

– Шахматы! – презрительно проворчал Алексей Григорьич.

Василий же Лукич не проронил ни слова, а на лице его... Федор удивился: не радость, не торжество. Что, страх, что ли? Да нет, не может быть!

«Я наступил на голову змеи», – пришло в этот миг в голову Василию Лукичу старинное выражение, означающее, что дело чревато бедою, но отступать было уже поздно.

## 8. Венец королевы Марго

– Ох, ну угодил! Ну, порадовал! Ну, уважил, крестничек!

Князь Федор едва удержал изумленно взлетающие брови. Вот как, Меншиков уже считает себя его крестным отцом? Верно, за то, что в его присутствии великий государь некогда отправлял молодого князя за границу? Надо полагать, и впрямь доволен подарком, если расщедрился на такие слова!

Да, сомневаться, что подарок пришелся светлейшему по душе, было невозможно. Да разве сыщется человек, кто не пришел бы в восторг при виде сего набора шахмат, выполненных из фарфора и одетых в шелковые одежды, которые с поразительной точностью и тщательностью копировали моды времен короля Генриха IV, – а сам он, кстати, изображал шахматного короля. Был он запечатлен в пору своей молодости и обаяния – тонкий, стройный гасконец, похожий на поджарого, породистого пса. Королеву его изображала красотка Маргарита Наваррская, в то время как вторая жена Анрио, Мария Медичи, стояла в ряду пешек рядом с Габриэль д’Эстре, крошкой Фоссез и всеми прочими более или менее известными фаворитками любвеобильного Генриха. Двух офицеров по прихоти художника изображали Колиньи<sup>23</sup> и Равальяк<sup>24</sup> – последний, видимо, для напоминания о

---

<sup>23</sup> Лидер протестантов, одно время духовный наставник Генриха Наваррского; был убит Гизами в Варфоломеевскую ночь.

бренности всякой удачи. Черные фигуры в точности повторяли белые, однако вместо сверкающих блестками, разноцветных одеяний были облачены в мрачные траурные наряды, причем у дам имелись черные вуали, у мужчин черные шляпы. Тонкость, с которой оказались выписаны лица, была изумительная, и Меншиков умилялся точеным куколкам, словно дитя.

Князь Федор любезно улыбался, с трудом скрывая нетерпение: хотелось поскорее приступить к исполнению своего замысла. Ему повезло застать светлейшего в редкую свободную минутку, однако вот-вот мог воротиться с охоты государь, или явиться докучливый проситель, или войти кто-то из домашних... и он едва не подпрыгнул от радости, когда Александр Данилыч азартно вскричал:

– Сыграем, голубчик? Не откажи старику!

– Воля ваша, – согласился Федор с видимым равнодушием и, не желая оставлять судьбе ни малейшего шанса на ошибку, потянулся к черным фигурам чуть ли не прежде, чем Меншиков взялся за белые. Ну да, в них была одна хитрость, разумеется... Не во всех, конечно, а только в Маргарите Наваррской, вернее, в ее кудрявой головке, а еще вернее – в затейливом венце. В его основании лежала малюсенькая тряпочка, пропитанная неким таинственным составом. Верный своей клятве, князь Федор так отмерил дозу и выверил консистенцию раствора, чтобы зелье подействовало не сразу,

---

<sup>24</sup> Фанатик, убивший Генриха IV по тайному приказу Марии Медичи.

исподволь, причем не нарушая никаких важных жизненных функций, а как бы подтачивая их и ослабляя. Он не сомневался: достаточно на самый незначительный срок уложить Меншикова в постель, чтобы царь (не без помощи Долгоруковых, конечно!) вышел из-под его влияния, а главное, разобрался в своих чувствах к невесте – вернее, в отсутствии оных. Федор был уверен, что уже через неделю Петр вернет Марии слово, а значит, можно будет немедленно засылать к ней сватов. И потом, как бы ни обернулись отношения Долгоруковых с Меншиковым, Федор не даст своего тестя им в обиду!

Он так увлекся своими планами, что и не заметил, когда фигуры были расставлены и противник сделал первый ход.

Каким бы лукавым царедворцем ни сделала жизнь Александра Данилыча, он в душе всегда оставался отважным и дерзким Алексашкою, а потому любил открытое начало, рискованную игру – и неизменно делал ход белопольной королевской пешкой (это была Габриэль д’Эстре) на два поля. Так же он поступил и сейчас.

Князь Федор тоже любил открытое начало, поэтому он смело придвинул свою пешку вплотную к меншиковской.

Вторым ходом (тоже любимым!) Александр Данилыч вывел белопольного офицера, нацелясь на уязвимую пешку возле черного короля.

Велико было искушение начать обороняться всерьез, но

ведь невзначай можно и выиграть! А кто знает, как поведет себя светлейший в таком случае. Вдруг обидится, сметет фигуры, уйдет... Федор даже похолодел. Нет, его надо заманить в ловушку, заставить призадуматься, обо всем забыть и...

Изобразив на лице простодушие, граничащее с тупостью, Федор вывел своего правофлангового коня.

Ни секунды не думая, Данилыч выдвинул на косой линии королеву Марго, угрожая дать мат следующим ходом.

Князь Федор сделал все, что нужно, дабы противник решил, что он крепко озадачен: тер лоб, моргал, отдувался... даже собрался взъерошить волосы, да не стал: пудра могла осыпаться. Он просто начал теребить кружевные манжеты и покусывать палец.

Его старательное раздумье затянулось, и наконец Меншиков, раздраженный ожиданием, схватил ферзя – Марго и поднес ко рту!

Федор перестал дышать, почти физически ощущая легкий, очень приятный мятный привкус во рту. Светлейшему голова Маргариты Наваррской тоже пришлась по нраву, и через минуту можно было уже не сомневаться: Александр Данилыч свое получил... Теперь Федору надо было еще немножко пострадать, изображая растерянность. Хвататься за ферзя – это была не только безобидная привычка светлейшего. Это был и хитрый маневр, который уже доставил Меншикову не одну викторию, ибо для озадаченного противника королева просто выпадала из поля зрения, че-

ловек невнимательный забывал, где она стояла и о самом ее существовании.

Ну наконец-то, счел Федор, пора вернуться к игре. Положение для него складывалось опасное, но не смертельное. Для спасения у черных было два-три хода. Федор их, естественно, знал, но, только вдоволь насладившись учиненным шпектаклем, он защитил своего мрачного короля траурной королевой.

Александр Данилыч стиснул ферзя в зубах...

Завязалась предивная баталия! Федор дал себе слово продержаться не более двух дюжин ходов, а потом позволить красиво себя одолеть. Каково же было его изумление, когда светлейший в довольно незамысловатой ситуации сам вдруг начал пыхтеть и отдуваться, теперь уже просто-таки грызя венец несчастной королевы Марго!

Надобности в этом уже не было никакой, и Федор с опаскою поглядывал на красивую игрушку: озлясь, Александр Данилыч запросто раздавит фарфор зубами! На его счастье, со двора слышались звуки рогов, смех, голоса – воротилась охота, и светлейший, с нескрываемым облегчением бросив: «Потом доиграем!», вскочил с кресла и проворно вынес из комнаты свое дородное тело.

\* \* \*

Князь Федор откинулся на спинку, только сейчас осознав,



как он устал. Умному всегда тяжело притворяться дураком, а не поставить светлейшему мат в три хода оказалось еще тяжелее. Надо постараться избегать с ним новых игр, пока Федор не женится на Марии: раздражать будущего тестя не входило в его планы.

Он прикрыл глаза, счастливо вздохнул. Он был изумлен собою! Приводила в трепет, в дрожь сердечную одна только мысль о том, что она здесь, в этом доме, так близко... Этот застенчивый взор, нервное подрагивание губ, неизъяснимая прелесть каждого жеста, легкий аромат, сопровождавший ее движения, словно она была прекрасным цветком, колеблемым ветром, – все в ней было столь очаровательным, столь неизъяснимо-властным над сердцем Федора, что он без всякого труда вызвал в своем воображении ее образ – да так и сидел, зажмурясь и слабо улыбаясь прекрасному видению.

Легкий шелест послышался рядом, и Федор нехотя открыл глаза. В первую минуту ему показалось, что грезы его еще не растаяли, ибо на него глядели удивленные серые глаза, вздрагивали в робкой улыбке нежные губы... и вдруг он осознал, что это уже не видение, что она, Мария, вживе стоит перед ним, совсем близко!

Федор вскочил так стремительно, что чуть не налетел на нее, заставив попятиться.

– Простите! О, простите!

Пробормотав это, умолк, невыразимо страдая от того, что не может прижать к себе ее стройный стан. Он не показывал-

ся в дом на Преображенском более недели, выжидая приличное время, а кроме того, желая, чтобы назойливая Елисавет успела обратить на другого свои непостоянные взоры. Федору также хотелось, чтобы Варвара Михайловна успела забыть сцену его нелепого сватовства, но одному господу богу было известно, сколько страданий принесли ему эти несколько дней вынужденного ожидания и добровольной разлуки с той, к коей рвалось сердце. Сам на себя наложив епитимью, он все же изредка нарушал ее и, облачившись в Савкины лохмотья, блуждал по окраинам меншиковского сада, вспоминая достопамятную сцену среди фигурных камней, пытаясь понять ее истинную подоплеку, мучась смутной ревностью к черкесу и понимая, что деваться некуда, поделаться ничего нельзя: если даже Мария к Бахтияру благосклонна, останется или добиться первенства в ее сердце – или убить соперника.

И вот Федор снова увидел ее! Надеялся взглянуть хоть издали, а она здесь, так близко. При одном взгляде на эту резко вздымающуюся белую, будто лебяжий пух, грудь, занялось дыхание. Изгиб ее шеи у плеча... у него губы пересохли. Да что это?! Никогда еще он так не желал ни одной женщины! Сейчас душу продал бы за счастье припасть к этому розовому, свежему рту. Скажи ему вышняя сила: «Возьми ее – и умри в мучениях!» – не медля ни минуты, рухнул бы с нею на пол, зарылся в облако пышных юбок, вонзился бы своей раскаленной, ноющей от страсти плотью в ее лоно, только бы

она ответила поцелуем, объятием, словом... ну хоть стоном любви! При воспоминании о безупречной красоте ее ног, которые ему как-то невзначай пришлось зреть, сделалось вовсе неумоготу.

Верно, его иступленный взгляд смутил Марию. Она ринулась было к выходу. Федор в бессилии отчаяния глядел на нервное колыхание жемчужно-серых шелковых складок, и этот неотступный взор удержал красавицу! Она замедлила шаги, бросила взгляд на шахматный столик, полуобернулась к Федору:

– Вижу, вы играли, князь? Решили с батюшкой потягаться? Напрасно! Он кого угодно одолеет, разве вы не знаете?

Федор готов был целовать каждый звук, произносимый ею. О, какая печаль, какая тихая печаль в ее голосе!

– А вашу позицию разбить – дело и впрямь нехитрое, – продолжала Мария, присмотревшись к доске. – Я вижу три способа вас обойти.

– Как три? – с непритворным изумлением пробормотал Федор. Он-то об этом, конечно, знал и ждал, что светлейший использует хотя бы один из них, а тот растерялся. И вот теперь это воздушное создание с первого взгляда...

– Нет, – перебила Мария, подходя ближе к доске. – Пожалуй, не три, а даже четыре! Только надо подумать...

Она присела в кресло отца, подперлась локтями, так и сякозирая доску, потом взяла королеву Марго и – о ужас! – знакомым движением потянула фигурку ко рту.

Федор метнулся вперед так резко, что шахматы слетели со стола. Мария только слабо пискнула, когда он железной хваткой стиснул ее пальцы, вырвал фигурку, отшвырнул, истер каблуком осколки. Слабо запахло мятой, и этот запах вернул князю Федору сознание.

«Ох, что я... как я...» Мысли испуганно замерли. Что за нелепость – набросился, схватил за руку, вырвал фигурку... Как осмелился хватать, как вообще посмел дотронуться хотя бы пальцем?! Она пока еще невеста государева, а не его! Холодок пробежал по Федоровой спине. Он попятился, не в силах отвести взор от изумленных огромных глаз. Они вдруг потемнели. «Гневается!» – понял Федор. Наверное, следовало бы пасть в ноги, нижайше молить о пощаде, но он, хоть стреляйте, не мог отвести взгляда от этих глаз, вдруг повлажневших, наполнившихся слезами. Да что это? Она плачет?!

– Больно уж вы стремительны в движениях, сударь! Одних за руку хватать... других за юбку... – И голос ее, начавшийся высокой возмущенной нотою, вдруг оборвался рыданием.

Князь Федор стоял как столб. Сердце его было зорче очей, оно увидело, вернее, почуяло то, что скрывалось за этими, казалось бы, бессвязными словами и необъяснимыми слезами. Мгновенное озарение – иначе нельзя было назвать вос-

поминание о том, как он резко, грубо одернул юбку бесстыжей Елисавет в то самое мгновение, как где-то наверху раздался стук захлопнувшегося окна.

Видела! Она видела! И подумала, конечно... что же она подумала о Елисавет и о нем!

Таким жаром ударило в лицо, что Федор даже пошатнулся. Ничто более в мире не существовало сейчас для него, кроме этих заплывших слезами глаз, смотревших на него с откровенным презрением. И это было невыносимо! Все в мире, в судьбе, в жизни и смерти вдруг сделалось неважно, ненужно. Он бы сейчас перевернул небо и землю, только бы она не смотрела так... ведь с каждым ударом сердца, с каждым мгновением Мария словно бы отдалялась от него все безнадежнее, невозвратно! Царский гнев, негодование дядюшек, опала, немилость, дыба, кнут, плаха, топор палача — пустое, все это пустое!

Он рванулся вперед и снова схватил девушку за руку. Пальцы слабо дрогнули в ответ... сердце его перевернулось от этого беспомощного трепета!

Мария глядела теперь с изумлением в его пламенные глаза, на эти решительно нахмуренные брови, твердые губы. Отшатнулась было, но Федор держал крепко, и она сделала невольный шаг к нему и еще один... стала так близко — пришлось даже закинуть голову, чтобы по-прежнему смотреть, смотреть ему в глаза.

Их руки вдруг сделались горячи нестерпимо. Да что руки

– самый воздух, чудилось, плавился и дрожал меж ними!

Мария тихонько вздохнула, разомкнув пересохшие губы. Федор покачнулся.

То, что сейчас происходило... Пусть они только держались за руки – все существо их соприкасалось: тела, сердца, губы... губы их словно бы также не отрывались друг от друга, касались, смыкались, ласкались мучительно-сладостно в воображаемом поцелуе, таком страстном, что оба задышали часто-часто, глаза их затуманились, еще мгновение – и оба не выдержали бы этого накала страсти, кинулись бы друг к другу – а там будь что будет!

... – Куда! Стой! Такие деньжищи – и куда? – громом с небес ударил вдруг за стенкой голос Меншикова.

Федор и Мария, вздрогнув, отпрянули друг от друга, глядя испуганно, изумленно, недоверчиво – что это было? Да было ли? Федор все не отпускал ее руку, и Мария слабо улыбнулась, а на глазах ее снова проступили слезы. Но теперь это были слезы счастья, ибо и он, и она враз постигли: любовь, необыкновенная любовь, о которой старые поэты слагали элегии и которая, как им казалось раньше, удел только бессмертных небожителей, существует – существует меж ними!

– Никуда ты не пойдешь! – снова загремел за стеной голос Меншикова, и Мария, очнувшись, вскрикнула, отпрянула и выскочила за дверь – как истинная женщина, ухитрившись

оставить Федора в куда большем смятении, чем была сама, раздираемого счастьем и отчаянием одновременно.

\* \* \*

Когда князь Федор отыскивал наконец в себе силы собрать фигурки и тронуться с места, больше всего на свете ему хотелось последовать за Марией, но это, конечно, было никак нельзя, а потому он вышел в другую дверь и невзначай оказался свидетелем преудивительной сцены.

Александр Данилыч Меншиков, разъяренный до такой степени, что лицо его приняло винно-красный оттенок, пинками гонял по комнате какого-то человека, резво бегающего на четвереньках туда-сюда, пытаясь увернуться. Правильнее будет сказать, что несчастный двигался на трех конечностях, ибо одною рукою прижимал к груди некий пухлый сверток. Меншиков тоже не просто так гонял свою жертву, а норовил именно сей сверток у бедняги выхватить, однако тот не давался и, когда загребущие руки светлейшего оказывались в опасной близости, просто-напросто падал плашмя, закрывая сверток своим телом и героически перенося более чем чувствительные тычки под ребра.

Завидев входящего князя Федора, несчастный возомнил в нем подмогу и привскочил на коленях, простирая руки. В это самое мгновение светлейший, подобно коршуну, бросился вперед и вырвал у него вожаделенный сверток, проворно

спрятав его за спину и отскочив на безопасное расстояние, как если бы опасался, что его жертва кинется отнимать свое добро.

Ничего подобного, разумеется, не случилось. Обобранный просто уставился на Александра Данилыча с выражением крайнего отчаяния.

– Ну чего, чего? – грубовато, но добродушно проговорил Меншиков. – Что за беда? Государь еще молод и не знает, как обращаться с деньгами; я эти деньги взял; увижусь с государем и поговорю с ним.

Придворный, дрожа губами, с трудом встал, поклонился и пятясь вышел. Меншиков победно перевел дух и начал было разворачивать свою добычу, да вспомнил о присутствии постороннего и сунул сверток в ларец, стоявший на столе. Крышку запер, ключ, привешенный на цепочке, надел себе на шею и с усталым выражением взглянул на молодого Долгокурова:

– Ты видал? За всем пригляд, глаз да глаз нужен! Все норовят растащить, все растратить, все на бирюльки спустить! Это же десять тысяч червонцев! Цех петербургских каменщиков поднес их императору, а государь отправил эту сумму в подарок сестре. Видано ли! Девушке молоденькой в подарок десять тысяч червонцев! Статное ли дело?! Наталье Алексеевне я перстенок поднесу, а денежки в... в казну! – провозгласил светлейший, и только чуткое ухо Федора могло уловить заминку перед словом «казна», которое для Мен-



шикова, бесспорно, было равнозначно слову «карман». Свой карман.

Князь Федор глядел на светлейшего с тревогою, размышляя: неужто отравы, принятая Меншиковым, оказалась столь действительна, что уже начала влиять на его организм и мгновенно помутила разум?! Вряд ли Петр, при самом благом расположении к Александру Данилычу, стерпит обиду, нанесенную горячо любимой сестре, вдобавок – унизившую его перед слугою, которому велено было передать деньги. Неужели светлейший не понимает сего? Или, может быть, чего-то не понимает Федор? Может быть, Меншиков уже так подмял под себя молодого царя, что тот и не осмелится проявить свой нрав?

Князь Федор в сомнении покачал головой – и тут, словно в ответ ему, где-то вдали раздался хриплый яростный крик, потом по коридору загрохотали шаги бегущего человека, дверь распахнулась – и в кабинет ворвался тот, о ком князь только что думал: молодой царь Петр.

Федор склонился в поклоне, успев заметить, что загорелое, округлившееся, обветренное (следствие частых забав на свежем воздухе) лицо государя сейчас бледно и искажено возмущением. Порыв негодования вынес его на середину комнаты, но там, как скала, возвышался светлейший, вмиг переставший быть суетливым ростовщиком, подсчитывающим прибыль, и обратившись в олицетворение государственной важности: голова гордо вскинута, локоны любимого

го вороного парика обрамляют толстые щеки, губы надменно поджаты, взор невозмутимо спокоен и проникнут истинным величием, живот выпячен, рука заложена за борт камзола... Чудилось, он изготовился позировать для парадного портрета! И впечатление было столь внушительным, что пыл Петра разбился бы об эту твердыню самомнения подобно тому, как волна разбивается о неколебимый утес, Меншиков одержал бы новую победу власти – когда б вслед за Петром в комнату не ворвалась вся его неперемнная компания, среди которой была и виновница стычки: великая княжна Наталья Алексеевна, бывшая на год старше своего царствующего брата.

Говорили, что она умна, добра, великодушна и благотворно влияет на излишне норовистого государя, однако ни ума, ни добросердечия, ни великодушия не увидел князь Федор в этих узеньких, как бы заплывших глазках: в них светилось неприкрытое злорадство.

Заслышав ее тяжелую поступь и неровное дыхание, почувяв ее насторожившуюся фигуру за своей спиной, Петр даже подпрыгнул, вновь исполняясь злости, и подался к Меншикову с таким пылом, что, чудилось, еще миг – и сшибся бы с ним грудь с грудью.

– Как вы смели, князь?! – крикнул он каким-то петушиным голосом. – Как вы смели, князь, не допустить моего придворного исполнить мое приказание?!

Меншиков тупо моргнул, рот его приоткрылся. По лицу было видно, что он не верит ни глазам своим, ни ушам, что

он воистину ошеломлен, в первый раз испытав такую выходку от государя, которого, как ребенка, привык держать в почтительном страхе перед собою. Чуткое ухо князя Федора уловило короткий, довольный смешок, который испустила заглянувшая в комнату Елисавет при виде остолбенелого временщика. Смешок был подхвачен Натальей, еще миг – и захохотал бы сам Петр, но тут Александр Данилыч наконец справился с собою и провозвестил:

– Ваше величество! У нас в казне большой недостаток денег; я сегодня намеревался представить вам доклад о том, как употребить эти деньги, но, если вашему величеству угодно, я ворочу эти десять тысяч червонцев и даже из моей собственной казны дам миллион!

Князь Федор даже зажмурился от этой новой неосторожности светлейшего: надо же додуматься кичиться перед царем своим богатством! Елисавет по-мальчишески присвистнула, в маленьких глазах Натальи Алексеевны вспыхнула алчность, а Петр с сердитым мальчишеским выражением выкрикнул:

– Пусть вы богаче меня, но я – император, мне надо повиноваться! Я здесь хозяин!

И, топнув на побледневшего Меншикова, как на крепостного, царь резко повернулся и замаршировал прочь, такой длинноногий и длиннорукий, что всякое движение его казалось разболтанным и неуклюжим. Вдобавок он был так зол, что пинал там и сям мебель.

– Государь! – прохрипел Меншиков, беспомощно простирая вслед ему руки. – Ваше величество! Не изволите ли отправиться прогуляться в сад с невестой? Вы давеча выражали такое пожелание – ее императорское высочество ждет!

Видно было, что от растерянности светлейший решил вернуть себе власть над Петром простейшим напоминанием о его обязательствах – но не тут-то было! Не родился еще на свет мальчик, которому напоминание о несделанных уроках доставило бы удовольствие, тем более если этот мальчик – государь! Вдобавок при словах «ее императорское высочество» Елисавет громко фыркнула. Наталья, возмущенно перередернув пухлыми плечами, выскочила за дверь.

Петр холодно оборотился к будущему тестю и бесцеремонно бросил:

– Сперва хотел гулять, а теперь раздумал! И вообще, к чему лишние любезности? Довольно ей моей клятвы. К тому же всем хорошо известно, что я не намерен жениться раньше двадцатипятилетнего возраста. Такое у меня намерение!

Елисавет послала государю восхищенную улыбку, и он гордо сказал – как бы только ей, но с явным намерением, чтобы услышал и Меншиков:

– Не терпеть же, когда он несет вздор да еще и дерзить норовит! Смотрите, как я его поставлю в струнку!

Царь и его компания удалились, но по коридору долго раздавались перекаты веселого молодого хохота.

Князь Федор еще прежде неприметно шагнул в боковую дверь: невозможно было допустить, чтобы Меншиков увидел, как чужой человек стал свидетелем его унижения! Но не удалился, а неприметно наблюдал сквозь щелочку в портале за светлейшим.

Конечно, тот слышал и последние слова государя, и его оскорбительный хохот. У временщика был вид человека, которого крепко ударили по голове, и он уже готов упасть, но в последнем изумлении озирается, не соображая, кто и с какой стороны его стукнул.

Да, подумал князь Федор, а ведь Ванька Долгоруков оказался не промах и в сообщности с великой княжной и цесаревной усердно расшатывает то прочное здание, которое зовется Алексашкой Меншиковым. Если дело и дальше так пойдет, замысел Федора сладится куда быстрее, чем он рассчитывал. В неприязни государя к невесте сомневаться уже не приходится. Достаточно самой малой малости, чтобы он вывернулся из цепких рук «батюшки» и задумался: а стоит ли исполнять клятву, коя тебя чрезмерно тяготит? Теперь ему нужно только время... и если Федор не обманывался, украдкой разглядывая лицо Меншикова и холодным взором исследователя отмечая красные и синие прожилки, проступившие на побледневших щеках, помутневшие глаза, испарину на висках, – если он не обманывался, то желанную передышку Петр получит скоро... очень скоро!

Итак, венец королевы Марго сыграл свою роль, все вроде

бы шло пока в полном соответствии с задуманной Федором интригою. Отчего же он глядел на одинокую фигуру сразу постаревшего, как бы смертельно уставшего Данилыча без радости, без торжества, а с сочувствием и даже сожалением, со странным чувством неуверенности и даже тоски? Ну, верно, именно так мы ощущаем себя всегда, когда на наших глазах первые признаки разрушения настигают то, что прежде казалось незыблемым вовеки.

## 9. Царская охота

Светлейший заболел так внезапно, что первым слухам об этом даже не очень-то поверили: сочли, что он просто сделал хорошую мину при плохой игре из-за стычки с царем, а не то и прикинулся занедужившим, дабы разбудить в Петре угрызения совести. Первые два-три слуха о том, что у Меншикова был лекарь, давал такие-то снадобья и пускал кровь, вызвали только скептические ухмылки. Потом стало известно, будто Данилыч надеялся преодолеть болезнь по-русски: посещением мыльни, но она нисколько не помогла – наоборот, ухудшила самочувствие. После того он уже не выходил из дому, хотя поначалу не придерживался постельного режима. Его навещали повседневные посетители, члены Верховного тайного совета: Апраксин, Головкин, Голицын, Остерман. Светлейший вел деловые разговоры, писал письма. Но вскоре консилиум врачей запретил больному заниматься делами, и число визитеров значительно поубавилось. Тогда в подлинность болезни генералиссимуса наконец поверили, тем более что и царь с сестрою, навестив «батюшку», вышли от него со странным выражением лиц: не то печальной неуверенности, не то надежды на близкое освобождение из-под деспотической власти.

Теперь каждый день приносил известия о том, что состояние больного ухудшается с удивительной быстротой. Пого-

варивали уже не просто о тяжелой хвори – ожидали близкой кончины князя! Ведь, кроме харканья кровью, сильно ослабляющего Меншикова, с ним бывала каждодневная лихорадка, внушающая лекарям серьезные опасения. Приступы были так сильны, так часты, что лихорадка перешла в постоянную. А в одну из ночей со светлейшим случился такой припадок, что думали о его неминуемой смерти...



# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.